

СОЛЖЕНИЦЫН

В ГАРВАРДЕ

CHALIDZE

PUBLICATIONS

NEW YORK

1981

**СОЛЖЕНИЦЫН
В ГАРВАРДЕ**

*Перевод с английского
Лидии Ворониной*

CHALIDZE

PUBLICATIONS

NEW YORK

1981

SOLZHENITSYN AT HARVARD

Copyright © 1980 by the Ethics and
Public Policy Center. All rights reserved.

Copyright © for Russian translation 1981
by Chalidze Publications.

Published by: Chalidze Publications
505 Eighth Avenue,
New York, N.Y. 10018

Printed in the United States of America

СОДЕРЖАНИЕ

Введение	5
Часть I. Ранние отклики	15
"Нью-Йорк Таймс". Одержимость Солженицына	17
"Вашингтон Пост". Солженицын как свидетель	21
"Вашингтон Стар". Солженицын в Гарварде	24
"Нейшнл Ревью". Мысли о Солженицыне	29
Джордж Уилл. Критики Солженицына	34
Джеймс Рестон. Русский в Гарварде	39
Ольга Андреева-Карлайл. Невидимые слушатели Солженицына	44
Джек Фрухтман. Голос из прошлого России звучит в Гарварде	50
Чарльз Кеслер. Преодолевая современность	59
Расколотый мир	61
Потеря мужества	64
Буква закона	67
Новая высота обзора	70
Арчибальд Маклейш. Наша воля крепка	74
Мэри Макгрори. Солженицын нас не любит	79
Артур Шлезингер, младший. Солженицын, которого мы стараемся не замечать	84

Часть II. Более поздние размышления	99
<i>Рональд Берман. Глазами европейца</i>	<i>101</i>
<i>Сидней Хук. О западной свободе</i>	<i>119</i>
Обвинение, предъявленное Солженицыным Западу	121
Антиномия правовой и нравственной жизни	125
Пресса и американская демократия	127
Несостоятельность Запада	131
Великий моральный пророк	135
<i>Харольд Дж. Берман. Важнейшее в законе</i>	<i>141</i>
О том, как Запад упал духом	145
Два взгляда на закон	152
Необходимость примирения закона	159
<i>Ричард Пайпс. В русской интеллектуальной традиции</i>	<i>164</i>
<i>Уильям МакНейлл. Закат Европы</i>	<i>175</i>
<i>Михаэль Новак. О Боге и человеке</i>	<i>187</i>

Примечания переводчика к статьям приведены в конце каждой статьи.

ВВЕДЕНИЕ

Редко когда в обращении к выпускникам в день присуждения степеней звучит что-то новое. Но речь, которая была произнесена во дворе Гарвардского университета в июне 1978 года, наверняка станет такой же исторической, как знаменитая речь Черчиля (Фултон, штат Миссисипи), в которой он, обращаясь к своим слушателям, сказал, что железный занавес опустился над Европой, перерезав пополам континент. Александр Солженицын произнес свою речь по-русски. Она переводилась синхронно на английский. Позже была переведена для широкой публики. И никто не был подготовлен к восприятию содержащихся в ней идей. Речь вызвала целую лавину непонимания, что стало ясно из последующих критических статей.

В данной книге опубликована сама речь, озаглавленная "Расколотый мир", подборка ранних откликов и статей специалистов по проблемам, затронутым в речи. Перевод (как и русский оригинал) разделен на 17 небольших главок, которые имеют подзаголовки. Темы этих 17 небольших главок могут быть разделены на шесть групп, в каждой развивается та или иная определенная мысль.

Первая группа,— общее описание ситуации в мире на сегодняшний день. Вместо "одного мира", мира как единственного целого, мечты,

мечты, которую мы все еще лелеем, в действительности существует множество противоположных миров: Соединенные Штаты, Советский Союз и другие нации. Запад очень серьезно заблуждается, полагая, что мировая политика будет развиваться в будущем в соответствии с идеями демократии и в демократической форме. Запад обманывает себя, апеллируя к теории конвергенции. Солженицын видит мир иначе. Мир расколот сверхдержавами, которые по самой своей природе изначально враждебны друг другу.

Вторая группа. Солженицын рассказывает о том, как он видит и понимает современный западный мир. Желание самоутверждения почти полностью утрачено Западом. Он стал абсолютно материалистичным, и идеалы, которые когда-то породили западный мир и обеспечили его явное превосходство, забыты. Свобода превратилась в равнодушие и теплится еще лишь там, где речь идет о личных интересах.

Третья группа. Злоупотребления прессы и путанное представление о роли интеллектуалов в современном демократическом обществе. Солженицын доказывает, что в условиях демократии пресса очень часто неправильно информирует и даже дезинформирует публику о происходящем.

Четвертая группа. Суть оппозиции Солженицына как по отношению к демократии, так и к социализму.

Пятая группа. Солженицын говорит о долге Запада сберечь свободу — долге, которым очень

часто пренебрегают. Однако Запад никогда не достигнет преимущества перед коммунизмом, если не проявит готовности пожертвовать многим ради свободы.

Шестая группа. Анализ гуманизма, который, по мнению Солженицына, выродился сейчас в обожествление человека и его творений. В целом осуждающая реакция Солженицына на Запад аналогична реакции Эмерсона на мир индустриализации: "Вещи в седле и правят человеком". Солженицын пытается доказать, что коммунизм и демократия происходят из одного и того же корня — секуляризованного мировоззрения Просвещения, и именно поэтому западные интеллектуалы не решаются критиковать коммунизм со всеми его последствиями. Солженицын делает вывод, что мы стоим перед необходимостью выбора между окончательным погружением и отстаиванием свободы, основанной на духовных ценностях.

Крупнейшие американские газеты широко осветили Гарвардскую речь Солженицына и подробно прокомментировали ее основные положения как в редакционных, так и в авторских статьях. "Нью-Йорк Таймс" и "Вашингтон Пост" утверждали, что Солженицын на самом деле не понял Америки. По мнению этих газет Солженицын не в состоянии видеть в свободе ничего кроме анархии, так как родиной его является страна, в которой господствует жесточайший деспотизм. Его религиозные ценности и политические принципы осуждались как реакционные, потому что они полностью закрывали

дорогу какому бы то ни было диалогу между коммунизмом и демократией. Он был причислен к сторонникам "холодной войны". Высказывались предположения, что он своего рода фанатик.

Оказалось, что консерваторы благосклоннее к тому, что сказал Солженицын, чем либералы. "Нэйшнл Ревью" отметила дважды, в том числе в редакционной статье, что Обращение Солженицына к студентам имеет то печальное достоинство, что оно верно. Похоже, что заключения Солженицына о международной ситуации, о намерениях Советского Союза и целях американской внешней политики соответствуют действительности. Гораздо меньше доверия, писала газета, вызывает то, насколько хорошо Солженицын знает Америку. Журналист Джордж Уилл среди прочих обсуждал проблему, насколько моральные категории Солженицына применимы к обществу, построенному на принципах либерального релятивизма. Он занес Солженицына в длинный список философов — от Цицерона до Паскаля, которые интерпретировали мир с религиозной и моральной точки зрения.

Статья Ольги Андреевой-Карлайл переносит нас в историю русского национализма. Миссис Карлайл, давно знакомая с Солженицыным и занимавшаяся его самиздатскими публикациями, уверена, что главное в Обращении — это защита ценностей русской православной церкви. Эту же точку зрения развивает Джек Фрухтман, который считает Солженицына славянофилом XX века, т.е. русским интеллектуалом, враждебно

настроенным по отношению к Западу и осознающим себя через свою принадлежность к России, к ее судьбе и православию.

Артуру Шлезингеру (младшему) принадлежит самый обстоятельный из ранних отзыхов. Начинает он с утверждения, что пуритане, основавшие Гарвард, гораздо ближе по духу к Солженицыну, чем их прямые потомки. Шлезингер продолжает развивать эту мысль, основываясь на том, что религиозная абсолютная истина противоположна истине секуляризованной и относительной. Как и пуритане, Солженицын не видит вообще никакого прока в свободе, а в демократии — весьма незначительный. Отдавая должное нравственным установкам Солженицына и его критике коммунизма, Шлезингер сомневается в его пророческом даре. Богатое воображение обезоруживает критиков, но его не хватило ни на то, чтобы увидеть и понять Америку такой, какой она есть, ни уж тем более на то, чтобы предложить какие-то полезные идеи по улучшению управления и т. п.

В ранних комментариях Солженицыну были высказаны претензии, что он может быть серьезным препятствием на пути к прекращению холодной войны; что он находится под чрезмерным влиянием религии, что он неправильно понимает демократию, и что он вообще не очень нас любит. Розалин Картер, первая леди, на специальной пресс-конференции отстаивала высокие моральные качества американского общества. Далее последовала серия статей,

апологий, защищавших американскую нацию вообще и, разнесенные Солженицыным в пух и прах, средства массовой коммуникации, в частности.

Однако было признано, что он верно избразил нашего врага, совершенно справедливо указал на наш меркантилизм и призвал найти силу и мужество и не поддаваться общей материалистической инерции жизни, преодолеть ее. В большинстве случаев пресса отнеслась с симпатией к его чувствам, но никак не к его идеям.

Шесть статей, помещенных в части 3, являются интерпретаторскими. Ричард Пайпс из Гарвардского Университета освещает некоторые вопросы русской интеллектуальной и политической истории. Микаэль Новак (Американ Интерпрайз институт) анализирует теологические взгляды Солженицына. Уильям Макнейлл из Чикагского университета пишет о роли Запада в мировой истории. Гарольд Берман (юридический факультет Гарвардского университета) разбирает солженицынскую концепцию западного права. Сидней Хук критикует речь как философ. Что касается меня, то я попытался проанализировать отношения Солженицына к другим современным писателям.

Рассматривая традицию, к которой Солженицын принадлежит как писатель, Пайпс выделяет консервативные идеи XIX века, развивавшиеся славянофилами. Пайпс указывает, что мы знакомы с этими идеями по романам Достоевского, а также по практике русского национализма. Пайпс считает Солженицына чем-то вроде славя-

нофила XX века, продолжающего борьбу против социальных институтов Запада, как пустых и формальных.

Микаэль Новак говорит, что Солженицын занимает давно известную в католицизме традиционно-критическую позицию по отношению к секуляризованному гуманизму. Как правило, в основе такой позиции лежит тезис, что начиная с эпохи Возрождения народы Европы перестали верить в Бога, а стали боготворить человека. Такая критика гуманизма имеет то достоинство, что ей не свойственен чрезмерный оптимизм. Солженицын, как и многие другие религиозные философы уверен, что христианская мысль предлагает более тонкое понимание человеческого характера, чем любая секуляризованная мифология. Однако, по мнению многих критиков, религиозная концепция природы человека, защищаемая Солженицыным, существенно ослабила воздействие на американцев всего его Обращения. Но Новак, напротив, считает, что именно религиозные взгляды Солженицына являются основным источником его моральных, психологических и политических концепций.

Уильям МакНейлл анализирует Гарвардскую речь Солженицына как специалист по всемирной истории. Он приходит к выводу, что у Америки есть много поводов для дальнейшего обострения конфликта с коммунистическим миром. Тем не менее, в отличие от Солженицына, он склонен считать, что Запад имеет хоть небольшое, но постоянное преимущество именно

благодаря его секуляризованным ценностям. Он верит в то, что воля Запада не ослабела, хотя признает, что возникает все больше и больше трудностей на пути преодоления самых разных недостатков.

Гарольд Дж. Берман усматривает корни критики Солженицыным западного "легалитета" в традиционном для русской православной церкви противопоставлении истинных духовности и жертвенности, с одной стороны, и жестокого, холодного закона, с другой. На Руси всегда подчеркивалась особая роль первых двух качеств. На Западе, напротив, закон всегда рассматривался как "способ перевести справедливость и любовь на язык социальных ситуаций, в которые вовлечено много людей". Берман заключает свою статью словами, что если человечество действительно стоит накануне нового этапа, в направлении которого Солженицын призывает нас делать первые шаги, то интеграция положительных ценностей Востока и Запада является реальной необходимостью.

Сидней Хук критикует Солженицына по четырем пунктам. Он согласен, что свобода не может быть неограниченной. Он также согласен с ним в том, что ради достижения абсолютной свободы, Запад стал одержим идеей собственного благополучия. Мы и в самом деле, как думает Солженицын, очень организованный народ в юридическом смысле, но, продолжает Хук, солженицынская трактовка американского закона очень фрагментарна и во многих отношениях ошибочна. Что касается прессы,

то тут Хук полагает, что Солженицын заостряет внимание не на том, на чем нужно: да, пресса злоупотребляет своими привилегиями и своей силой, но тем не менее свободная пресса это осознанный риск, на который мы идем ради реального функционирования демократии, демократии в действии. Наконец, Хук решительно выступает против утверждения Солженицына, что мораль может основываться только на религии. Хук как философ уверен, что нравственность в политике необходима и возможна без религиозных институтов и веры. Его вывод таков: проникновение Солженицына в суть истории Запада и его судьбы значит гораздо больше, чем его ошибки в трактовке нашего образа жизни и в оценке нынешней ситуации.

В моей статье высказывается предположение, что Александр Солженицын не такая уж необычная фигура для нас, как это может с первого взгляда показаться. Он видит Запад глазами вполне западного сатирика и тяготится тем же, чем в последнее время так мучительно тяготятся многие западные поэты, писатели и художники. Общим местом современной литературной критики является утверждение, что наше общество подвело нас самих. Такие писатели, как Конрад, такие поэты, как Паунд, такие философы, как Т. Хальм, посвятили многочисленные главы и строфы этой теме. Словом, в атаке на материализм, который следует повсюду за нами в жизни, Солженицын не одинок: напротив, его оценки разделяют многие другие писатели — лауреаты Нобелевских премий.

Рональд Берман

ЧАСТЬ I

РАННИЕ ОТКЛИКИ

ОДЕРЖИМОСТЬ СОЛЖЕНИЦЫНА

Александр Солженицын как никто заслужил право призывать Запад к переоценке моральных ценностей. Необыкновенное мужество и убежденность, давшие ему возможность выжить в советском ГУЛаг’е, привели в восхищение всех свободных людей. И вот теперь внимание этих людей приковала его критика Америки, затронув их самые глубокие чувства. Верно, что наши законы используются богатыми и сильными для еще большего увеличения их богатства и могущества. Верно, что наша пресса очень часто безответственна, телевидение потонуло в бессмыслицах, порнография действительно процветает. И верно, что вся нация поработана материализмом. Но при всем при этом мировоззрение Солженицына кажется нам гораздо более опасным, чем наша собственная беззаботность, приводящая в ужас Солженицына.

Спор, который он начал, далеко не нов. О том же самом спорили еще на заре республиканского общества и до сих пор продолжают спорить. В существе своем этот спор ревнителей религии, уверенных в том, что они осуществляют волю Бога на земле, с просветителями, полагающимися в своих действиях и объяснении этих действий, а также

This editorial appeared in the *New York Times* on June 13, 1978, and is reprinted by permission.

и всего остального, на разумность человеческого рода.

И хотя Солженицын по своим взглядам относится к совсем другой культурной традиции, есть одно очень важное обстоятельство, роднящее его с нашими религиозными ревнителями. Он уверен в том, что именно он обладает истиной, и поэтому куда бы он ни взглянул, он повсюду видит отклонения от этой истины и ошибки. Истинно верующему мир представляется ареной борьбы между светом и тьмой, Богом и Дьяволом. Такой взгляд на вещи может быть источником великой силы, он порождает мучеников. Для людей типа Солженицына политики Запада, постоянно взвешивающие доходы и расходы, постоянно подгоняющие свои идеалы под нужды сегодняшнего дня или просто выгодно выменивающие их, а потому едва ли способные занимать какую-либо принципиальную позицию и быть верными ей до конца, такие политики должны казаться если не откровенными подлецами, то уж во всяком случае весьма слабовольными существами.

Однако вся проблема заключается в том, что жизнь в обществе, управляемом такими зелотами, как Солженицын, обязательно становится невыносимой для тех, кто не разделяет их взглядов и не придерживается их убеждений. Несогласие наказывалось задолго до возникновения ГУЛАГа. И основатели американского государства прекрасно

понимали это. Они приложили много сил, чтобы рассредоточить централизованную власть и гарантировать индивидуальные свободы. Разработанный законодательно порядок избрания человека на высшую должность, который так не нравится Солженицыну и который, к тому же, неоднократно серьезно искажался, все-таки в течение 200 лет защищал американцев от произвола в управлении.

А если говорить об отношениях Америки со странами коммунизма, то мы опасаемся, что Солженицын отнюдь не оказал услуги миру, призывая к священной войне. И это в ситуации, когда оружия накоплено более, чем достаточно, а ставки не просто слишком высокие — это человеческие жизни. Но есть и еще кое-что в его речи. Из всего того, что Солженицын нам советует и к чему призывает, поскольку он готов отбросить все другие ценности и сконцентрироваться на крестовом походе против коммунизма, ясна его абсолютная убежденность в том, что мы были бы просто счастливы отказаться от лидеров нашей нации. Однако хоть какая-то доля сомнения не мешает людям, ответственным за применение ядерного оружия.

Там, где Солженицын видит нашу слабость и нерешительность, мы видим нечто большее — терпимое отношение к любым идеям, смиренное принятие абсолютных истин, осознание ответственности, возложенной на нас нашей ужасающей мощью. Когда наши руководители утрачивают эти скромные

добродетели, как, например, во Вьетнаме, страдаем от этого и несем значительный ущерб не только мы, но и другие.

Солженицын заставил Запад увидеть всю жестокость советского режима и усилить сопротивление коммунизму. Может быть, теперь, когда он обосновался в Америке, он со временем поймет, что, по крайней мере, некоторые качества, выглядящие как слабости нашей нации, на самом деле являются абсолютным и непреходящим источником ее силы.

СОЛЖЕНИЦЫН КАК СВИДЕТЕЛЬ

Личный опыт Александра Солженицына — человека, который страдал и выжил, чтобы свидетельствовать своим искусством о страданиях других, заставляет многих относиться с глубоким вниманием к его публичным выступлениям. Однако при чтении его Гарвардской речи все время ощущается: не коммунизм, а суть современного человека является его настоящим врагом. Он уверен, что Возрождение подорвало духовные основы западного общества и, в целом, оно представляет собой такое же извращение (хотя и чуть-чуть попримичнее), как коммунизм, опустошивший его родную землю. В духовном отношении с самого начала Возрождение никогда не было на высоте. Одно из проявлений всеобщего упадка Запада состоит в том, что у него нет сил собрать все свое мужество и успешно сражаться с коммунизмом. Да, к тому же, американская музыка — просто ”непереносима”. Словом, заключает автор, Запад не может быть образцом ”моей стране” — России.

Солженицын далеко не первым увидел духовные изъяны Запада. Но он пускается критиковать западное общество с позиций,

This editorial appeared in the *Washington Post* on June 11 1978, and is reprinted by permission.

указывающих на его чудовищное непонимание этого общества, предпочитающее вести все политические, социальные и культурные дела на основе признания и уважения различий, существующих между людьми. Наитие или видение, которому Солженицын целиком подчиняется, или точнее, пророк, который и есть он сам или в нем самом, говорит ему, что божественная сила даст толчок новому духовному подъему, который и сплотит все общество. И эта сила или этот пророк будут обладать властью, достаточной для претворения в жизнь этого видения.

То, что Солженицын проживает сейчас на Западе — временно, как он надеется — дает ему возможность пропагандировать свои взгляды. А они остаются очень и очень русскими. Их корни в религиозных и политических особенностях русского культурного опыта, весьма отличного от культурного опыта современного Запада.

Концепция Солженицына подтверждает, что существует огромный разрыв в привычках и установках между европейцами и подавляющим большинством русских. И этот разрыв чувствуется особенно сильно, когда русские, подобно Солженицыну, начинают использовать чисто европейское достояние — принцип терпимости и уважения к многообразию точек зрения — в своей критике этого принципа.

Несомненно, суровая солженицынская критика отсутствия на Западе сильной воли,

способной на решительные меры, вызовет признательность в кругах американских правых, которые ищут подтверждения своего собственного понимания того, какой должна быть линия боя с коммунистами. Но Солженицын предоставляет неубедительные доказательства. Кажется, он высоко ценит свойственную американцам заботу о правах человека. Но, фактически, сам он доводит эту заботу до абсурда. Одна только мысль, что западные общества могут размышлять о возможности мирного сосуществования с Советским Союзом, раздражает Солженицына. Однако нужно подчеркнуть, что так как он выступает в момент усиления тревоги относительно целей Кремля, он зовет американцев в бой.

С точки зрения западного сознания, принцип многообразия мнений применим как на международной арене, так и по отношению к отдельным людям. Если Солженицын и понимает это, то наверняка не принимает. Он выступает за нескончаемую холодную войну.

СОЛЖЕНИЦЫН В ГАРВАРДЕ

Видимо, периодически предпринимаемые Солженицыным обличения гуманистических ценностей Запада верны, и вызывают тревогу, на что указывает шквал резкой ответной критики. Вчера он опять выступал, на этот раз с трибуны Гарвардского университета в день получения дипломов и, как всегда, возникло сильное желание ответить резко, защищаясь.

Первый инстинктивный вопрос: что вообще знает русский писатель, проводящий дни свои за забором в отдаленной вермонтской деревне, о вибрирующем многоликом обществе, которое он считает таким несовершенным из-за недостатка духовности? Здесь нужно вспомнить, что русских писателей всегда привлекал какой-то сумасшедший эксцентричный пуританизм; что только очень немногие из них, пожалуй, только Тургенев, были достаточно ироничны, терпимы и самокритичны; что даже Толстой, величайший из них, кончил свою жизнь с жутким отращиванием к человеческой разноликости и к своему собственному искусству, заключив, что все есть суета и легкомыслие.

This editorial appeared in the *Washington Star* on June 11, 1978, copyright reserved.

Конечно, Солженицына нужно причислить к этой традиции, поскольку через нее можно объяснить многое в его очень предрешенном взгляде на мир, в котором он очутился 4 года назад не по своей воле, а будучи сосланным. Но все-таки правильно обрисовать проблему не значит еще реально решить ее.

Начнем с вопроса: "Что же он все-таки утверждает?". Самая излюбленная его мысль, что следование принципам либерализма, критичности, плюрализма приводит к очень опасной слепоте. Запад не в состоянии увидеть безжалостности и изначального зла в намерениях тоталитаризма и постоянно одурачивает себя тем, что приписывает свои собственные великодушные устремления тому, у кого их и в помине никогда не было. В этом есть своя правда, и это вызывает у нас постоянную тревогу и чувство беспокойства, с которыми нам всем постоянно приходится жить. А спасительные средства всегда так неочевидны. Не является ли одним из самых жутких среди многих искушений тоталитаризма легкость, с которой свободные общества могут перенять свойства тоталитарного общества, которые они считают особо опасными и неприемлимыми?

Но политическая стратегия и тактика далеко не главные вопросы, затрагиваемые в Обращении Солженицына. Пророчество, которое он хочет донести до слушателей, не является политическим в строгом смысле— оно даже антиполитическое. Оно из других

сфер человеческой деятельности — исторической, эстетической, религиозной.

В историческом плане Обращение Солженицына представляет собой критику фундаментальных изменений в системе ценностей, которые произошли в эпоху Возрождения, когда были как бы заново переоткрыты представления о человеке, свойственные классическому мировоззрению, т. е. необыкновенно высокая оценка человеческой личности и превращение ее в меру всех вещей. В эстетическом плане это острая пуританская неприязнь к легковесным и низкопробным стандартам массовой культуры: одурение от телевидения, непереносимая музыка, всепроникающий дух коммерции, который всему придает оттенок продажности. С религиозной точки зрения, это твердое убеждение способного на глубокие переживания русского человека, заглянувшего в преисподню сталинского ада; западные люди просто недостаточно страдали, они не очистили свои души от всякой нечисти в страдании.

В этих почти навязчивых идеях, конечно же, есть своя доля правды о Западе, но они никак не развивают и не конкретизируют как раз самое важное, что есть в этой правде, — ее сложность. От этой правды нельзя так просто отмахнуться, сказав, что Солженицын слишком заостряет внимание на темной стороне и вообще не видит многих очень существенных, но скрытых явлений в жизни западного общества. Хотя это тоже верно.

Фактически, при таком крайне субъективном подходе ответная критика бессмысленна. О вкусах и о духовных установках не спорят. И все-таки великий русский пророк, находящийся среди нас, по-видимому, преувеличивает масштабы западного разложения и, несомненно, он слишком просто, одним махом, умаляет ценность свободных политических и экономических систем, понять которые можно на самом деле, только рассмотрев их комплексно.

Такие системы по природе своей не могут совершенствоваться вкусы или нравственные критерии, как-то целенаправленно на них воздействуя. Они предоставляют им свободно развиваться. Регламентация ни ради хорошего, ни ради дурного не входит в их цели. То, что по мнению Солженицына, есть духовный хаос и вульгарность, является неизбежным следствием нашего убеждения, что государство не служит и не может служить целям воспитания людей. Оно не учитель. Эту роль мы отводим частным институтам: церкви, школе, семье. Их сила или слабость выражается в том всеобщем упадке, о котором так стенает Солженицын. Об их явном усилении говорит стремление Запада к общему духовному обновлению.

Сегодня Запад, продолжает Солженицын, далеко не образец для духовного возрождения народов, находящихся под гнетом тоталитаризма. На что можно ответить: конечно, это так и не может быть иначе. Те, чья жизнь полностью регламентирована

системой, приносящей зло и убивающей душу человека, не найдут альтернативной модели регламентации, глядя на Запад. Однако они увидят систему, которая дает человеческой природе возможность проявлять себя свободно и в величии и в низменности.

МЫСЛИ О СОЛЖЕНИЦЫНЕ

7 июля в ”Нейшнл Ревью” был опубликован полный перевод речи Солженицына, произнесенной им в Гарварде в день присуждения ученых степеней. Солженицын возвышается как башня на горизонте литературной и политической жизни XX века и, по всей вероятности, эту его речь будут читать, обдумывать и обсуждать и столетие спустя.

По очень многим спорным вопросам Солженицын занимает позицию, правильность которой самоочевидна. Он мужественный человек и пророк, который хочет изничтожить XX век, расколоть его как орешек, задав еще раз вечные политические и философские вопросы.

Но вместе с глубокими истинами Солженицын иногда высказывает резкие замечания и выдвигает слишком жесткие требования, которые мешают их адекватному восприятию.

В английском переводе речи было много неточностей. ”Нейшнл Ревью” обещает через какое-то время сделать новый более точный перевод. Но при чтении даже того варианта, которым мы располагаем сейчас, возникают некоторые ”вопросы на полях”, некоторые сомнения относительно центральных

This editorial appeared in *National Review* on July 21, 1978, and is reprinted by permission.

идей, которые Солженицын хочет донести до нас.

Доводы Солженицына едва ли могут быть опровергнуты.

Во вьетнамской войне "у американского образованного общества сдали нервы". "Участники американского антивоенного движения оказались соучастниками предательства дальневосточных народов — того геноцида и страданий, которые сегодня там сотрясают 30 миллионов человек". Что можно возразить по поводу подобных заявлений?

Однако, кроме этого, Солженицын хочет выразить то, что почти не укладывается в наше сознание, а именно, что Гитлер отнюдь не был самым опасным из всех политических зол, что есть зло куда более страшное: "В XX веке западная демократия самостоятельно не выиграла ни одной большой войны: каждый раз она загораживалась сильным сухопутным союзником, не придираясь к его мировоззрению. Так во Второй мировой войне против Гитлера вместо того, чтобы выиграть войну собственными силами, которых было, конечно, достаточно, вырастили себе горшего и злейшего врага; ибо никогда Гитлер не имел ни столько ресурсов, ни столько людей, ни пробивных идей, ни столько своих сторонников в западном мире, пятую колонну, как Советский Союз". Верно. Но с одной оговоркой: по-видимому, Гитлер все-таки выиграл войну идей в третьем мире, ведь большинство политических режимов там — это "национал-социализм".

Солженицын глубоко прав, когда говорит, что выживание нации или культуры это вопрос воли. "Никакое величайшее вооружение не поможет Западу, пока он не преодолеет потерянности своей воли". Тут многие согласятся с Солженицыным, но это -- вопрос теологический, ибо касается веры и надежды.

Однако эти ключевые высказывания сопровождаются другими, весьма проблематичными, спорными и просто неверными, что ослабляет силу главных доводов Солженицына.

1. Верно ли, -- и это весьма существенный вопрос -- что "истина очень редко когда приятна, что почти всегда она неизбежно горька"? Весьма вероятно. Но вот Данте все время обращается к "сладкому миру", а он-то никак не "дитя иллюзий".

2. Верно ли, что материальное изобилие на Западе мешает его "свободному духовному развитию"? По всем признакам западный мир находится в процессе религиозного обновления, которое происходит как внутри организованной церкви, так и за ее пределами. И если изобилие есть фактический враг духа, то в чем это конкретно проявляется?

3. Верно ли, что русский народ очистился страданиями и сейчас меньше ориентируется на материальные блага и стал духовно сильнее его западных противников? Если приглядеться, то, по крайней мере, средний русский также заботится о материальных

вещах, как и западный человек, и являет собой полную противоположность какому-либо мужеству.

4. Можно ли верить утверждению, что основой управления жизни в США и на Западе являются исключительно формальные законы? "Если человек прав юридически — ничего выше не требуется... Добровольного самоограничения почти не встретишь: все стремятся к экспансии, доколе уже хрустят юридические рамки". Верно ли это? Все ли так живут?

5. Верно ли, что пресса и все остальные средства массовой коммуникации "стали первой силой западных государств, превосходя силу исполнительной власти, законодательной и судебной"? Возможно, но нельзя утверждать это без доказательств.

6. Верно ли, что "мысли немодные, хотя никем не запрещены, не имеют реального пути ни в периодической прессе, ни через книги, ни с университетских кафедр"? Контрвопрос: дочитали ли Вы статью до этого места?

Великая сила Солженицына заключается в его неослабевающей преданности истине. Более чем кто-либо он может повторить вслед за Уолтом Уитменом: "Я человек, я страдал, я был там". Его основные произведения и "Архипелаг ГУЛаг" — роман, который восстанавливает историю, — сильны уникальным чувством фактов, то есть — чувством глубокого уважения к фактам, которым обладает Солженицын.

КРИТИКИ СОЛЖЕНИЦЫНА

Александр Солженицын напоминает голубя из книги Бытия, не находящего себе покоя, и пророков, не позволяющих покоя. Как и надлежит пророку, он вызвал вполне определенную реакцию своей речью в Гарварде. Эта реакция показала, что общество находится в состоянии глубокого удовлетворения собой.

Запад, утверждает Солженицын, добился существенного социального прогресса, что и "соответствует тем задачам, которые он перед собой ставил". Так что нищета духа, которая сопутствует этому социальному прогрессу, свидетельствует об изначальной ошибочности тех самых задач и, естественно, бытовавшего в течение последних столетий способа мышления, в котором происходило их оформление. Если современная цивилизация развивалась, взяв за основу принцип "преклонения перед человеком и его материальными потребностями", тогда совершенно закономерно "за пределами физического благополучия и накопления материальных благ все другие, более тонкие и высокие,

This article appeared in June 1978 and is reprinted by permission of the Washington Post Writers Group.

особенности и потребности человека остались вне внимания государственных устройств и социальных систем, как если бы человек не имел более высокого смысла жизни.”

На ранних этапах развития современного мышления, продолжает Солженицын, Запад держался еще духовным наследием предшествующего тысячелетия. Предполагалось, что человек по природе своей наделен (на языке Декларации независимости) ”определенными правами Богом”, т.е. свобода вручалась личности условно, в предположении ее ”постоянной религиозной ответственности”. Отсюда: ”Слишком много надежд мы отдали политико-социальным преобразованиям -- а оказалось, что у нас отбирают самое ценное, что у нас есть: нашу внутреннюю жизнь”.

”Нью-Йорк Таймс”, чья всеохватывающая критика распространяется на все ценности, исключая ее собственные, считает Солженицына ”опасным” и ”зелотом”, потому что он верит в то, что он ”обладает истиной”.

”Таймс” хотела бы, чтобы Александр Солженицын был похож на основателей Американской Конституции, которые, кстати, но об этом ”Таймс” забывает, предали родину и развязали 8-летнюю войну ради той истины, которую считали ”самоочевидной”.

”Вашингтон Пост” придерживается мнения, что взгляды Солженицына ”очень русские, их корни -- в религиозных и политических особенностях русского культурного

опыта, весьма отдаленного от культурного опыта современного Запада”.

И в самом деле, взгляды Солженицына очень несовременны, даже антисовременны, но их никак нельзя назвать исключительно русскими. Его представления о природе человека и о фундаментальных политических проблемах схожи с представлениями Цицерона и других древних философов: Августина, Фомы Аквинского, Ричарда Хукера, Паскаля, Томаса Мора, Берка, Гегеля и других.

Если сравнивать полнокровную, уходящую в глубь веков интеллектуальную традицию, в которой укоренены все основные идеи Солженицына, с традицией современного мышления, с легализмом, то последняя предстанет очень юной и худосочной.

”Таймс”, которая обвинила Солженицына в том, что он толкует мир слишком грубо, слишком дихотомично, сама понимает его по точно такой же схеме, т. е. как участника ”спора религиозных ревнителей, уверенных в том, что они осуществляют волю Бога на земле, с просветителями, полагающимися в своих действиях и объяснении этих действий, а также и всего остального на разумность человеческого рода”. ”Вашингтон Пост” говорит, что Солженицын ”демонстрирует чудовищное непонимание западного общества, которое предпочло вести все политические, социальные и культурные дела на основе признания и уважения различий, существующих между людьми”.

Но есть еще одна, в общем-то, противоположная интерпретация современной политической традиции. И хоть она менее привлекательна, зато она более точна.

Современные политические теории подчеркивают тот факт, что все люди одинаковы, а не различны. Они пытаются обосновать стабильные общества, положив в основу самое всеобщее, самое элементарное, самое сильное в человеческих страстях — корыстный интерес, который несколько смягчен тем, что приведен в согласие с экономическими устремлениями, со стремлением человека к обогащению.

В таких обществах закон не обязывает людей жить возвышенной жизнью. Единственная цель, которую преследует закон, это как можно лучше организовать и способствовать процветанию умеренного материализма. Современные политические теории оперируют как предпосылкой положением: "Не добродетель делает людей свободными, но свобода делает людей добродетельными", по крайней мере, если добродетель определить как стремление к получению того удовольствия, которое не выходит за рамки минимальной законности.

Такое общество получает в ответ так же мало самоограничения и гражданского самосознания, как и требует. Оно генерирует то, что Солженицын называет "атмосферой душевной посредственности, омертвляющей лучшие взлеты человека". Он сомневается, что общество, основанное на слегка

прирученном эгоизме, в состоянии требовать от своих граждан сознательности и жертвенности, необходимых для борьбы с очень упрямым врагом.

Де Токвиль, Генри Адамс, Ирвинг Баббит, Поль Элмер Мур, Питер Вирек и другие образуют иную, незаметную сразу, но непрерывную традицию. Мыслители этого типа разделяют вместе с Солженицыным его тревожные сомнения в отношении предпосылок американского сознания и культуры, которая может быть создана на основании этих предпосылок. Философия Солженицына имеет более богатую родословную, чем либерализм. Последний является ортодоксальной идеологией обществ, обязанных своим успешным развитием моральному капиталу, который был оставлен им более древними и устойчивыми традициями и который они сейчас весь промотали.

Еще теплящееся единодушие американцев в отношении предпосылок их собственной культуры -- предмет достойный специалистов по изучению интеллектуальной ограниченности. Этому единодушию не хватило пороха, чтобы оправдать критиков Солженицына в их стремлении отвергнуть все его попытки сформулировать по-новому самые древние и самые заслуженные проблемы Западной политической философии.

РУССКИЙ В ГАРВАРДЕ

Александр Солженицын высказал столько верных и даже благородных мыслей в своей речи перед гарвардскими выпускниками, что можно только гадать, зачем он все так испортил своими многочисленными несправедливыми, провокационными и даже глупыми побочными замечаниями.

Было вполне достаточно его критики материализма и морального убожества Запада, подрыва свободы по чисто эгоистическим мотивам.

Но Солженицын сказал гарвардским выпускникам: "Если и минет нас военная гибель, то неизбежно наша жизнь не останется теперешней, чтоб не погибнуть сама по себе. Нам не избежать пересмотреть фундаментальные определения человеческой жизни и человеческого общества: действительно ли превыше всего человек, и нет над ним Высшего Духа? Верно ли, что жизнь человека и деятельность общества должны более всего определяться материальной экспансией?"

Хорошие вопросы, которые поэт Арчибальд МакЛейш задает не менее красноречиво, но более тактично в своей последней

This article appeared in the *New York Times* on June 11, 1978, and is reprinted by permission.

книге эссе и размышлений "Идущие по Земле" ("Riders on the Earth"). Но Солженицын переступил суть самих вопросов и сделал выводы, по сравнению с которыми утверждения Шпенглера в "Закате Европы" кажутся безрассудно оптимистичными.

Солженицын говорит о "падении мужества" как о самой отличительной черте современного Запада. Это свойственно не только Соединенным Штатам, но и всем другим свободным странам, особенно их политическим лидерам и интеллектуальной элите.

Наши лидеры выступают храбрецами против слабых стран, но, полагает Солженицын, у них "коснеет язык и парализуются руки против правительств могущественных, сил угрожающих, против агрессоров и против Интернационала Террора".

Солженицын, которого самого выслали из Советского Союза за критику жестокости и бесчеловечности советской политической системы четыре года назад, конечно же, не советовал латать все дыры на Западе, ориентируясь на ту, советскую жизнь, но добавил: "Нет, ваше общество я не мог бы рекомендовать как идеал для преобразования нашего. Для того богатого душевного развития, которое уже выстрадано нашей страной в этом веке -- западная система в ее нынешнем, духовно истощенном виде не представляется заманчивою...

Несомненный факт: расслабление человеческих характеров на Западе и укрепление

их на Востоке. За шесть десятилетий наш народ, за три десятилетия народы Восточной Европы прошли духовную школу, намного опережающую западный опыт...”

И это сказано человеком, который сумел изобразить неподдающиеся никакому описанию муки советских тюрем и психиатрических лечебниц? И это тоже несомненный факт, черт возьми!

Солженицын озаглавил свою речь ”Расколотый мир”, что значит мир, утративший единство и не могущий обрести его вновь. Но судя по многочисленным блестящим сентенциям, это не мир, но чей-то разум утратил целостность, потерявшись в бессвязных разглагольствованиях.

Солженицын думает, что духовное банкротство и физическая трусость привели Соединенные Штаты к ”поспешной вьетнамской капитуляции”. Поспешной? Спустя целое поколение массовых жертв? Нехватка мужества? Американский народ восстал против геноцида, который так проклиняет Солженицын, именно потому, что он все еще живет своим духовным наследием и верой в священную неприкосновенность человеческой жизни.

В речи Солженицына есть одно фундаментальное противоречие. С одной стороны, он доказывает, что ”только моральные критерии помогут Западу в его борьбе с коммунизмом”. С другой,— он уверен, что только американская военная мощь и сила

воли могли остановить резню во Вьетнаме; американцы должны были продолжать ее и таким образом остановить распространение коммунизма в Азии.

Это любопытный аргумент, к которому часто прибегают, особенно с тех пор, как стало ясно, что теория домино¹ кажется, не работает в Юго-Восточной Азии, т. е. с тех пор, как камбоджийские и вьетнамские коммунисты стали бороться друг против друга, Ханой стал вести китайцев по пути воссоединения с Народной Республикой, и страхи, возникшие в конце Вьетнамской войны, не исчезли.

Однако, относительно жанра Обращения к выпускникам, как такового, надо кое-в чем отдать должное Солженицыну. Он был абсолютно прав в том, что "поверхностность и поспешность — психическая болезнь XX века". Его критика прессы была хоть и резка, но во многом очень справедлива. Местами он напоминал Спиро Агню², однако кое-что он тонко подметил и сделал несколько тонких замечаний.

"Душа человека, истрадавшаяся под десятилетиями насилия, тянется к чему-то более высокому, более теплomu, более чистому, чем может предложить нам сегодняшнее массовое существование, как визитной карточкой предпосылаемое отвратным напором реклам, одурением телевидения и непереносимой музыкой".

Но, по крайней мере, ему позволили сказать все это. Вероятнее всего, в условиях "духовного превосходства" Советского Союза такое бы не разрешили на выпускном вечере в Московском университете.

¹ Все эти писатели и мыслители принадлежат к консервативному крылу в политике. Известны своей острой критикой политического демократического устройства Америки. Наиболее последовательно эта точка зрения выражена французским писателем Де Токвилем, посетившим Америку в 30-е годы XIX века и написавшим книгу "Демократия в Америке", которая стала классической и цитируется всеми, кто анализирует критически американскую политическую систему. Основной аргумент этой критики состоит в том, что демократия воплощает в себе идею индивидуализма и индивидуалистического анархизма, полностью отрывая человека от семьи, традиций, культурных корней и предоставляя ему свободу выбирать к какой общественной ассоциации присоединиться. Культурное значение книги Де Токвиля примерно аналогично значению книги Де Кюстина о России.

² *Спиро Агню*, вице-президент при Никсоне, относился крайне отрицательно к левой интеллигенции, борьбе за гражданские права, свободной прессе, отражающей все точки зрения; почти в духе маккартизма приравнивал бунтарскую антиэстаблишменскую позицию независимой интеллигенции к прокоммунистическим настроениям в Америке.

НЕВИДИМЫЕ СЛУШАТЕЛИ СОЛЖЕНИЦЫНА

Подобно раскатам первой весенней грозы, речь Солженицына, произнесенная в Гарварде в день получения дипломов, эхом отдалась по всей Америке. Великий русский писатель, живущий сейчас в ссылке в далеком Вермонте, заговорил после более чем двухлетнего абсолютного молчания. И то, что он сказал, и как, прекрасно соответствовало случаю. Речь самого знаменитого гостя Америки прозвучала как речь пуританского проповедника, прошедшего сквозь адские муки; прозвучала как речь Каттона Мэттера на склоне его лет. Обвинения, предъявленные Солженицыным Западу, т.е. обвинения в моральном разложении, повторили, в основном, собственные сомнения и страхи Америки по поводу наших моральных, социальных и политических затруднений.

Солженицын сказал, что спасение заключается в аскетизме, в отказе от легковесности и материализма, от постоянной погони за удовольствиями. Солженицын был особенно крут с нашей свободной прессой и юриспруденцией, которая чуть ли не со времен

This article appeared in *Newsweek*, July 24, 1978, and is reprinted by permission.

основателей Американской конституции извращалась нашей безбожностью.

Естественно мне, как американке, тесно связанной с русскими диссидентами, работавшей тайно над публикацией книг Солженицына здесь, на Западе, когда он еще находился в Советском Союзе, было крайне интересно посмотреть, насколько изменился Солженицын с тех пор, как я его повстречала в первый раз в 1967 году. Большинство русских, вынужденных покинуть родину из-за нетерпимости советской власти к инакомыслию, видели в Солженицыне поборника свободы и права всех знать правду. А вот теперь он говорит, что необузданная пресса невыносима: "все имеют право знать все"-- это ложный лозунг ложного века, много выше утерянное право людей не знать". Правда, он не сообразил, что он обязан предоставленной ему возможностью высказаться многим поколениям американцев, которые узаконили и сохранили свободы, которых в России никогда не было,— гражданские свободы, свободы слова и прессы-- к осознанию необходимости которых европейцы пришли уже в XVIII веке.

Слушая Солженицына, я все больше и больше убеждалась еще в одной очень важной вещи. Ведь это дело чистого случая, что Солженицын, провозвестник новой аскетической религиозности, обращался к американской аудитории. На самом деле он обращался к советским руководителям и

русскому народу. Он хотел, чтобы они знали, что он не обольстился ложными ценностями Запада. Его душа все еще в России. Если бы только советская власть смогла отказаться от марксизма, который, с точки зрения Солженицына, является в каком-то смысле тоже проклятым наследием века Просвещения, тогда матушка-Россия, исцеленная религией и новым нравственным порядком, могла бы возродиться.

Солженицын не одинок в мечтах о таком возрождении. В советской верхушке многие разочарованные неудачами советской власти как в экономической, так и в гуманитарной сферах, разделяют подобные упования. Они хотят видеть Россию сильной, не запятнанной никакими чужеродными идеологиями, восстановившей ее патриархальные ценности. Такие же настроения бытуют и среди широких слоев русского населения, сознающего серость и пустоту повседневной жизни и обвиняющего в этом "иностранцев". К тому же они весьма озабочены тем, что в Советском Союзе, объединяющем множество нерусских наций, прирост русского населения значительно ниже по сравнению с ними. Русские возродили один из самых древних мифов своего национализма — веру в то, что русский народ является народом-избранником, носителем высшей правды.

По мере того как руководство старится, страхи за будущее усиливаются. Нужно найти новые политические альтернативы.

”Русситы” (так иногда называют новое поколение русских националистов) становятся все более влиятельными. Тайно они презирают марксистскую идеологию. Но современную, атеистически настроенную, интеллигенцию они так же не выносят. Они антисемиты. И их можно обнаружить везде, на любом уровне советской иерархии, больше всего в армии и в КГБ.

Для тех, кто следит за развитием событий в Советском Союзе, доминирующее влияние русситов очевидно. Например, художнику Илье Глазунову — иконописцу, примыкающему к движению русситов, наконец, после 20 лет работы, была разрешена персональная выставка. Тысячи людей простаивали в очереди часами, чтобы посмотреть его картины русских святых и национальных героев. Говорят, Глазунов — русский патриот, который верит, что за 60 лет существования советской власти русский народ пострадал больше всех, по сравнению более чем с сотней других народов, населяющих СССР. В Москве все уверены, что он антисемит и агент КГБ.

Однако нельзя путать русситов с тысячами и тысячами людей в Советском Союзе, которые проявляют живой интерес к религии. Русское православие всегда одинаково принимало в свое лоно и тех, кто истинно верил, и тех, кто просто использовал церковь в политических целях. Русситы относятся к последней категории.

В течение последних 10 лет многие советские диссиденты постепенно "правели". Возможно, это вызвано тем, что они, знакомясь все ближе с жизнью на Западе,— что было, в свою очередь, результатом детанта и эмиграции,— оборачивались назад, в историческое прошлое, в надежде отыскать там пути к достижению социальной справедливости -- иные, чем те, которые предполагал Запад, пропитанный материализмом и аморализмом. Альтернатива, выдвинутая Солженицыным, это человеколюбивое автократическое религиозное государство, которое сознательно предоставляет своим гражданам ограниченную свободу. В таких условиях духовная свобода будет существовать за счет свобод гражданских. Система контроля и баланса власти, которая может предотвратить превращение такого государства в тираническое, обсуждается лишь вскользь.

Новые правые всемерно подчеркивают будущую роль России, которая воплотит в себе идеи чистейшего и строжайшего православия. Страдания, которые сейчас претерпевает страна от рук безбожников-коммунистов, таинственным образом предначертывают ей эту ведущую роль в жизни будущего мира, где и капитализм, и марксизм окажутся на грани смерти. Новые правые убеждены, что особое внимание сейчас должно быть уделено Китаю, который, как они подозревают, покушается на русские территории. Всего каких-нибудь несколько лет

Советский Союз еще может быть уверен в свсей победе над Китаем. Это весьма традиционный прием пробудить национальные чувства — иметь врага-агрессора на границе. И именно поэтому нет ничего опаснее для России как сближение Китая и Америки, сближение, которое очень усиливает Китай.

Солженицын не из тех, кто сознательно подогревает национальные настроения у себя на родине, но как-то инстинктивно он очень симпатизирует им. Его собственные убеждения глубоко укоренены в русском национальном духе, не обузданном никаким цивилизованным влиянием демократических традиций. Случись, скажем, сейчас, что новые правые придут к власти в Советском Союзе, Солженицын, как один из русских пророков, сможет вернуться домой с триумфом.

ГОЛОС ИЗ ПРОШЛОГО РОССИИ ЗВУЧИТ В ГАРВАРДЕ

Вчерашняя речь Александра Солженицына, с которой он обратился к гарвардским выпускникам, более обескураживает и раздражает, чем что-либо проясняет. Джеймс Рестон из "Нью-Йорк Таймс" отметил, что высказывания Солженицына об упадке Запада и так всем известны. Каждый знает о нашей постоянно усиливающейся одержимости достижением материальных благ и о трудностях решения многих моральных проблем.

Но возникает вопрос: что побудило Солженицына сказать все это? Почему он, обвиняя западное общество, не предлагает ничего, что помогло бы ему выйти из критического состояния? Впрочем, вроде он и называл одно средство, хотя и очень неопределенно, как-то между прочим. Его единственная надежда — возрождение на Западе "духовной жизни".

Выбор подобной фразеологии ("духовная жизнь") в данном случае, и вообще стиль речи Солженицына как в этом Обращении, так и во всех остальных его произведениях,

This article appeared in the *Baltimore Sun* on June 18, 1978, and is reprinted by permission.

указывает на его прямую связь с русским прошлым. Для того, чтобы понять его Гарвардскую речь, необходимо иметь хоть какое-то представление о группе русских романтически настроенных интеллектуалов, которые создали всеохватывающую (хотя едва ли последовательную идеологию. В основе этой идеологии была положена идея особой исторической миссии России и русской православной церкви.

Эта группа людей, своего рода коллектив, известный под названием "славянофилов", не был организацией в точном смысле этого слова, их связывали скорее семейные или дружеские узы. Они не терпели никакого формализма. Участникам этого содружества никогда не навязывалось интеллектуальное или философское единомыслие.

Солженицын в своей Гарвардской речи выступает почти как славянофил XIX века. Возможно, что сам термин "славянофил" первоначально был шуточным по отношению к русским филологам и националистам, которые интересовались проблемой происхождения русского языка. Период их самой интенсивной деятельности — середина XIX века. Наставляемые, главным образом, Алексеем Хомяковым и Иваном Киреевским, славянофилы считали, что особенности исторического развития Запада способствовали его духовному разложению, но что его может спасти омолаживающее русское духовное влияние.

Солженицын вторил этим идеям. Например, он утверждал, что основой философии Запада является принцип "рационалистического гуманизма", под которым он понимает "провозглашенную и проводимую автономность человека от всякой высшей силы над ним". В этом как в кагале воды отражается целиком доктрина славянофилов: упадок Запада есть следствие неправильного понимания сущности человека, т. е. понимания человека как существа в первую очередь рационального и материального, а не духовного и религиозного. "Мы, — заявляет Солженицын, — отринутись из Духа в Материю — несоразмерно и непомерно."

Славянофилы осуждали Запад за то же самое. Они отстаивали тезис, что Запад все время подчеркивал значение рациональности, принуждения и, более всего, правовых институтов и материального благосостояния, а каждое из этих качеств противоречит доброте человека, заложенной в него природой.

Согласно концепции славянофилов, Запад начал деградировать именно потому, что стал боготворить рациональность, материю и форму. Более того, он возложил слишком много надежд на систему мышления и систему действия, построенных на правовых основаниях. Эта система, как они думали, была разработана впервые в древнем Риме, откуда она перешла в католическую церковь. А она, в свою

очередь, передала ее протестанизму, который способствовал ее тотальному распространению в западной культуре и западном обществе.

В своей речи Солженицын говорил о чрезвычайном пристрастии Запада к рационализму и, соответственно, к рационалистическому гуманизму. Вдобавок ко всему прочему, он осудил нашу правовую систему как проявление западной трусости и слабости: "Общество, в котором нет других весов, кроме юридических, тоже мало достойно человека". И далее он продолжал обвинять Запад в манере, которую наверняка одобрили бы его предшественники славянофилы: "Когда вся наша жизнь пронизана отношениями юридическими — создается атмосфера душевной посредственности, омертвляющая лучшие взлеты человека".

Однако, в отличие от славянофилов, которые относили начало упадка Запада ко времени древнего Рима, Солженицын относит его к эпохе Возрождения. Но и славянофилы, и Солженицын не сомневаются в том, что этот упадок и все ему сопутствующее, глубоко укоренены в западной истории, которая представляет собой историю человека, утратившего связь с бесконечным, вечным, нетленным. Славянофил Иван Киреевский писал: "Больше видеть, что утонченное, но неизбежное и просто ниспосланное безумие руководит во всем

западным человеком. Он чувствует, что обьят тьмою, и как мотылек летит на свет, который он принимает за Солнце. Он квакает как лягушка и лает как собака, когда слышит Слово Божие". Короче, человек лишился человечности и упадок Запада коснулся и нас.

Далее, как славянофилы, так и Солженицын полагают справедливым утверждение, что духовные потенции человека трансформировались под очень сильным влиянием разума, и правовых институтов и правосознания. Это способствовало развитию тех самых характеристик упадочного состояния общества, которые Солженицын перечисляет в своей речи, а именно: нравственной трусости, которая проявляется более всего в наших отношениях с коммунистическими странами и в отступлении во Вьетнаме; материализма и самодовольства, которое он породил в людях; юридической изощренности; бесстыдной прессы, вторгающейся в частную жизнь людей и осуществляющей незримую цензуру над умами; одуряющего телевидения и непереносимой музыки. Когда Солженицын говорит о силах зла, которые начали "свое решительное наступление", он имеет в виду не вдруг нахлынувшую волну греха или демонов, невесть откуда взявшихся. Он имеет в виду как раз то, о чем и вздыхали ранние славянофилы: прошло то золотое время, когда Запад, у порога своего развития, был "землею святых

чудес”, по выражению Хомякова, и сейчас мы пребываем в состоянии полнейшего истощения, потери силы воли.

Все это — признаки нашего упадка. Мы противопоставлены обществу, которое является творением рук наших и в котором мы чувствуем себя уютно только потому, что привыкли к нему, живем в нем ежедневно и ежечасно. А вот Солженицын уверен, что это общество обречено, потому что оно отвергло истинную духовность и подменило ее поклонением разуму и материальным вещам. На самом деле, мы, люди Запада, безбожники.

Таким образом, общая оценка, данная Солженицыным Западу, очень близка к той, которую дали Западу славянофилы. Хотя, разумеется, у них и в мыслях не было окончательно хоронить западный мир на том лишь основании, что Россия готовилась к духовному обновлению всего мира.

Россия отличалась от Запада именно тем, что воплощала в себе изначальную духовность, которой, по мнению Солженицына и славянофилов, так Западу не хватало. Но до совершенства России тоже было далеко. Сейчас Солженицын отрицает саму идею, что Запад может послужить моделью для преобразования Советского Союза, а тогда славянофилы писали, что Россия ни в коем случае не готова быть духовным образцом для Запада.

По крайней мере, еще не была готова. Однако и такая, какова она сейчас, Россия намного лучше Запада, утверждали славянофилы. Русское общество основывалось на очень крепких семейных узах, а институт крестьянской общины мог объединить людей в гармоничное органическое целое. Сверх всего, у России было православие — истинное выражение жизни Христа и его учения.

С точки зрения славянофилов, Россия духовно, если не экономически и не политически, была могущественной державою. Иван Киреевский писал в конце прошлого века: "Совсем другое дело — Россия; здесь нет ни борьбы, ни соревнования, ни постоянной войны, ни бесконечных договоров. Россия это не порождение обстоятельств, но продукт живого органического развития. Она не построена, она выросла". Россия воплотила в себе идеальный дух любви, свободы, гармонии и мира.

Но как быть Солженицыну, когда его любимая Россия вышвырнула его? Где-то в середине речи можно найти ответ на этот вопрос. Во-первых, он четко разделяет истинную Россию и советское коммунистическое государство. Он повторяет опять и опять, что советская власть попыталась (по его мнению, это только лишь попытка) разрушить русскую душу, "вытоптать" русскую духовность с помощью "различных партийных ухищрений и махинаций".

Но, заявляет Солженицын, русский дух не разрушен. Напротив, в действительности он только закалился. Как и славянофилы, которые противопоставили русскую духовность западному материализму, Солженицын теперь апеллирует к ней же как к спасению Запада. Он пишет: "Для того богатого душевного развития, которое уже выстрадано нашей страной в этом веке,— западная система в ее нынешнем, духовно истощенном виде не представляется заманчивой". Под игом коммунистов "за шесть десятилетий наш народ, за три десятилетия — народы Восточной Европы, прошли душевную школу, намного опережающую западный опыт. Сложно и смертно давящая жизнь выработала характеры более сильные, более глубокие и интересные, чем благополучная регламентированная жизнь Запада".

Думаю, что сейчас всем нам ясна солженицынская позиция. Россия — истинная Россия — воспрянет, чтобы спасти мир. Это то, что говорили славянофилы 100 лет назад. У России не вопреки, а благодаря ужасающим мукам последних 60 лет есть сейчас силы, религиозно-духовные силы спасти мир вообще и Запад в частности от самоистощения.

То, что сказал Солженицын, имеет определенный смысл, если это рассматривать в контексте учения славянофилов. Он может ошеломить нас силою своих обвинений, но проблемы, поставленные им, так и останутся проблемами. Наша задача, т. е. задача людей

Запада, состоит не в том, чтобы сформулировать контраргументы, и не в том, чтобы обязательно бороться против завоеваний коммунистов во Вьетнаме или еще где-то, как советует нам Солженицын. Проблема заключается в нас самих. Мы должны преодолеть все недостатки нашего западного образа жизни и побороть свои слабости. И, возможно, именно это является наиболее верным из всего того, что сказал Солженицын об отсутствии в современной западной культуре истинного морального мышления и подлинной духовности.

ПРЕОДОЛЕВАЯ СОВРЕМЕННОСТЬ

Это было что-то потрясающее -- сидеть в толпе нынешних и бывших гарвардских выпускников. Одни впервые готовились услышать традиционное приветствие, другие слышали его прежде. Приветствие, которое всегда начиналось словами "Harvard's motto is veritas" ("Девиз Гарварда -- истина") и представляло собой на самом деле не панегирик Гарварду, а трезвое исследование самой истины. Ведь нынче истина, т. е. сама идея того, что есть такая штука как объективная истина, не в почете в университетах. Раз или два в год ее могут пригласить в класс, но только лишь для того, чтобы развенчать как упорный предрассудок и разоблачить как великое заблуждение Птолемея. Проигнорируйте то парадоксальное обстоятельство, что отрицание истины должно быть само по себе истинным: Солженицын звучал очень увлекательно именно потому, что говорил об истине так, как будто это и было истинно.

Однако ничего в речи Солженицына не было столь поразительным, как это показалось его критикам. В общем, все они обвиняли его в одном -- в "вопиющем непонимании западного общества", как выразилась

This article appeared in *National Review*, September 15 1978, and is reprinted by permission.

”Вашингтон Пост”, хотя все расходились в мнениях, почему Солженицын понимает Запад неправильно. Некоторые — такие всегда найдутся в любой толпе — приняли его просто за дурачка. Например, Джеймс Рестон в своей статье писал: ”Солженицын озаглавил свою речь ”Расколотый мир”, что значит мир, утративший единство и не могущий обрести его вновь. Но, судя по многочисленным блестящим сентенциям, это не мир, но чей-то разум утратил целостность, потерявшись в бессвязных разглагольствованиах”. Но большинство, встав на точку зрения культурного детерминизма, милостиво провозгласили Солженицына неисправимо русским. Его взгляды уходят корнями ”в особенности русского религиозного и политического культурного опыта, весьма далекого от культурного опыта современного Запада”, высокомерно заключила ”Вашингтон пост”. Комментаторы с действительно богатым воображением увидели в нем теократа, а ”Нью-Йорк Таймс” назвала его ”зелотом”, проповедующим ”священную войну”, который подобно ревнителям XVIII века ”уверен в том, что именно он обладает Истиной, и поэтому, куда бы он ни взглянул, повсюду видит ошибку или отклонение от истины” (если бы автор захотел остаться последовательным, он бы написал ”ошибку” с большой буквы, вот так: ”Ошибку”).

Хотя все эти отклики очень различны, у них есть одна общая черта: каждый критикующий

Солженицына уверен, что он обладает истиной в суждении о нем. Но на самом деле они не улавливают самого главного в нем.

Расколотый мир

Конечно же, журналистам, которые усвоили в институтах, что все ценности относительны, и которым эта истина внушает благоговение и по сей день, очень трудно допустить, что ценности не могут быть относительными. Но именно это надо сделать, чтобы понять, о чем говорит Солженицын. Для понимания прежде всего необходимо уважение к авторской терминологии. А это значит, что среди прочего надо обращать внимание и на такие вещи, как, скажем, название речи. Солженицын говорил о "расколоте мире", хотя, строго говоря, тема "миров" занимает всего несколько абзацев во всей его речи. Но стоит немного поразмыслить над этим названием и у нас появится ключ ко всем обвинениям, которые Солженицын предъявил западному обществу. Ведь критики развенчивали его как нелиберального, не понимая, что он на самом деле *антисовременный*. Его сомнения в отношении современного предпринимательства как такового являются принципиальными и всеохватывающими. Он спрашивает не просто о том, есть ли выход из коммунизма, но скорее, есть ли выход из современности? Или же, точнее: как можно преодолеть современность?

1. Первое значение названия этой речи легко понять: это то, как смотрят на мир современные политики. "Даже очень поспешному взгляду", который, надо сказать, свойственен как журналистам, так и большинству современных людей, обыденно смотрящих на вещи, очевидно, что две гигантские сверхсилы противостоят одна другой в каждой точке земного шара. Но это "политическое представление" отражает лишь частичное понимание мира — то, которое заключается в иллюзии, "что опасность может быть устранена удачными дипломатическими переговорами или равновесием вооруженных сил".

В действительности же "мир расколот и глубже и отчужденней", и сущность этого раскола обнаруживается, как только мы пытаемся выразить ее в словах. Соединенные Штаты и их философские сторонники считают, что "права человека" это то, что воплощено в Декларации независимости, т.е. естественные права, и что принимается за основу гражданского управления. Правительство существует для того, чтобы охранять эти права, чтобы обеспечивать условия, необходимые для достижения счастья. Советский Союз и его сторонники называют себя марксистами. Что это в действительности означает, сказать трудно после того, как все это было пережевано не одним поколением ученых. Но по крайней мере одно ясно: это отрицание идеи о неизменности человеческой природы и, следовательно, идеи

о наличии некоторых неотторжимых прав человека. Марксисты верят в существование Истории или диалектического материализма. Иными словами, они верят в то, что человеческая природа со временем меняется, что человек как бы создает себя в труде, протекающем во времени, и что история этого созидания посредством труда есть история классовой борьбы.

2. Существует таким образом не только политический, но и философский барьер между Западом и Востоком. Или же, можно сказать, нравственный барьер, учитывая разницу философий и то, как она влияет на политические события. Так называемая теория конвергенции, которая все более интенсивно обсуждается в коротких промежутках между ужасами советской истории, фокусирует внимание на самых элементарных вещах: общность бюрократизации и технологизации, общность научных целей — и таким образом опускает более существенную и принципиальную разницу между Соединенными Штатами и Советским Союзом. Это пропасть не экономического характера, но нравственного и философского. Т. е. в современном мире наличествует философский раскол или *mutatis mutandis* (что то же самое), раскол внутри мира современной философии.

3. Прекрасно. Но если взглянуть на карту мира еще раз, то не обнаружится ли трещин больше, чем нам было указано? "Есть понятие "третий мир", — продолжает Солженицын, —

и, значит, уже три мира. Но их несомненно больше, мы не доглядываем издали”. И если ”всякая древняя устоявшаяся самостоятельная культура...составляет самостоятельный мир”, тогда Китай, Индия, Африка и дореволюционная Россия, например, должны тоже учитываться.

Потеря мужества

И тем не менее, в некотором смысле, эти страны являются частью современного мира, поскольку сама идея существования третьего и четвертого миров является очень современной идеей. Народы третьего мира называются развивающимися нациями вполне справедливо. Они находятся в состоянии развития, в процессе какого-то становления. Или же, если употребить слово, ставшее тотемом во всей современной социальной науке, в этих странах осуществляется процесс ”модернизации”. Не нужно особенно напрягаться, чтобы увидеть связь между двумя парами противопоставлений: современный мир — развивающийся мир и современное (рационально-правовое) общество — традиционное общество. Эти противопоставления возникали в социальной науке в конце XIX века, в частности они есть у Макса Вебера, труды которого авторитетны для социологов в той же мере, как английский перевод Библии, принятый английской церковью, для протестантов. Деление или раскол мира на

развитый и неразвитый так же, как деление мира на демократический и коммунистический, является продуктом современной философии и социологии. Ни одно из этих делений не выходит за рамки современного взгляда на мир, который Солженицын старается определить или опровергнуть.

Хотя само различие между традиционным и современным не подразумевает намерения или желания заставить традиционное уступить дорогу современному, на практике об этом забывают. На Западе "ослепление превосходства, — замечает Солженицын,— поддерживает представление, что всем обширным областям на нашей планете следует развиваться и доразвиться до нынешних западных систем... , что все те миры только временно удерживаются злыми правителями, или тяжелыми расстройствами, или варварством и непониманием — от того, чтоб устремиться по пути западной многопартийной демократии и перенять западный образ жизни..." Современная классификация "традиционно-современное" выросла на западном непонимании сущности остальных миров." Такая классификация подразумевает оценку стран "с точки зрения прогресса", сделанного ими в направлении современности, и не задается вопросом, какой тип современности (восточный или западный) является целью прогресса, или же является ли современность как таковая чем-то действительно достойным выбора.

4. "Падение мужества,— заявляет Солженицын,— может быть самое разительное, что видно в сегодняшнем Западе постороннему взгляду. Западный мир потерял общественное мужество...". Хотя эта потеря недавнее явление и может быть недолгим, Солженицын усматривает его истоки в "том господствующем на Западе мирознании, которое родилось в Возрождение, а в политические формы отлилось с эпохи Просвещения". Важнейшей отличительной чертой этого мировоззрения является небывалое возвеличивание "человеческой независимости и силы" и радикально новое представление о науке. Веками наука рассматривалась как в основе своей созерцательная, существующая ради чистого понимания. А современная наука существует ради укрепления человеческой силы. Когда наука только ворвалась в мир, она была высокомерна, нетерпелива, амбициозна и, вместе с тем, пугающе волновала, поскольку обещала грандиозные результаты. В течение двух тысячелетий философы пытались понять мир. Сейчас задача заключается в том, чтобы управлять им и изменять его. Наука, призванная служить "освобождению рода человеческого" (блестящая формулировка Бэкона), обещала изобилие. А изобилие сразу же обеспечивало более счастливое и более справедливое общество, ибо причины, порождающие несправедливость, исчезли бы.

За последние десятилетия "технический и социальный прогрессы дали осуществить ожидаемое... обеспечен большинству комфорт, которого не могли представить отцы и деды, появилась

возможность... почти к неограниченной свободе наслаждений". Вместе с тем сосредоточение всех сил на материальном благосостоянии поставило под угрозу возможность "свободного духовного развития" человека. Человеку грозит потеря своей души в процессе завоевания мира. И скоро он поймет, что невозможно владеть миром, не имея души. Если современное общество организовано по принципу обеспечения наивысшего естественного права человека, права сохранения жизни (Гоббс, Локк и Мэдисон, например, считали, что именно так оно и должно быть организовано), то почему отдельный гражданин должен рисковать своей "драгоценной жизнью ради защиты общих ценностей"?

Буква закона

Век современности начался с попытки улучшить общество путем расширения могущества человека и усиления его господства над природой. В политической сфере средствами улучшения общественного устройства оказались социальные институты и законы, в развитие которых было вложено много труда, после того как Кант смело заявил, что управление государством "это вопрос лишь хорошей организации государства... А проблема организации государства, какой бы сложной она ни казалась, может быть решена даже для чертова отродья". *Locus classicus* (классическое выражение) этого тезиса можно найти в Конституции Соединенных Штатов Америки. Ее знаменитая система контроля

и баланса является институциональной защитой против власть имущих, которые представляют собой хоть и не совсем "чертово отродье", но все-таки породу людей с не очень развитым сознанием общественных интересов и очень развитым сознанием интересов личных. Согласно знаменитой формуле Мэдисона (Федералист № 51), "Нужна амбиция, чтобы противостоять амбиции. Интерес человека должен быть каким-либо образом связан с конституционными правами, положенными человеку по должности".

Когда Солженицын грустно замечает, что на Западе "любой конфликт решается юридически" и что "все стремятся к экспансии, доколе уж хрустят юридические рамки", он фактически затрагивает фундаментальные основы современного мировоззрения и сущность американских конституционных принципов. Опора на социальные институты вместо формирования характера, "политика восполнения недостатка в лучших мотивах противоположными и соперничающими интересами", кажется Солженицыну слабой и несовершенной. "Всю жизнь проведя под коммунизмом, я скажу: ужасно то общество, в котором вовсе нет беспристрастных юридических весов. Но общество, в котором нет других весов, кроме юридических, тоже мало достойно человека".

Альтернативной опоры на социальные институты и букву закона должна стать не тирания, царистский авторитаризм или же отсутствие всякого закона вообще; альтернативой в данном случае должно стать "добровольное

самоограничение". Это значит такое нравственное воспитание, которое предписывает разуму управлять страстями, иными словами, то, чему учили Платон, Аристотель, Августин и другие. В индивидуе важна нравственная добродетель, в народе — хороший характер, а роль закона состоит в том, чтобы помочь сформировать хороший характер народа. Современная трактовка социальных институтов, т. е. опора на них как на заместителей чистой добродетели, предполагает отделение закона и нравственности. В старые времена вряд ли существовало такое деление. А ведь как раз оно способствовало "увеличению зла". Хотя "весь этот переклон свободы в сторону зла создавался постепенно, но первичная основа ему была, очевидно положена гуманистическим человеколюбивым представлением, что человек, хозяин этого мира, не несет в себе внутреннего зла, все пороки жизни происходят лишь от неверных социальных систем, которые и должны быть исправлены".

В современных концепциях "за пределами физического благополучия и накопления материальных благ, все другие, более тонкие и высокие потребности человека остались вне внимания государственных устройств и социальных систем". Правительство, согласно известной метафоре, есть арбитр, следящий за тем, чтобы выполнялись наиболее элементарные и необходимые правила. Почти совсем никакого внимания не обращается на качество самих игроков, т. е. людей. Очень и очень малые усилия делаются, чтобы воспитать их

добродетельными. Результат — ”атмосфера душевной посредственности, омертвляющая лучшие взлеты человека”.

Корни опасности, нависшей над Западом, его слабости и неуверенность — в типе мышления, господствующего на протяжении последних столетий. Солженицын называет его ”рационалистическим гуманизмом или гуманистической автономностью — провозглашенной и проводимой автономностью человека от всякой высшей силы над ним”. Проще говоря, современность оказалась ошибкой, смертельным заблуждением разума. ”... Ошибки, не оцененные в начале пути, теперь мстят за себя. Путь, пройденный от Возрождения, обогатил нас опытом, но мы потеряли то Целое, Высшее, когда-то полагавшее предел нашим страстям и безответственности”. Эта утрата идеи Бога или природы, в классическом понимании, и есть ”настоящий кризис” нашего времени, ибо ”не то даже страшно, что мир расколот, но что у главных расколотых частей его — сходная болезнь”.

Новая высота обзора

Короче, современность во многих отношениях представляет даже большую опасность для человека, чем коммунизм, который сам по себе есть лишь частное проявление современности,— союз наихудшей современной науки (и философии) с тиранией. Консерваторы, которые всегда бурно приветствовали Солженицына,

должны понять, что он не просто антикоммунист, но и антимодернист, что значит и антикапиталист тоже. Он не признает Макиавелли, Гоббса, Локка, Мэдисона, Адама Смита так же, как и Маркса, хотя и не так явно, не так определенно.

Оппозиция Солженицына по отношению к современности не должна отождествляться с его оппозицией по отношению к Западу. Во многом он сам является величайшим представителем западной культуры, носителем самых древних и самых уважаемых западных традиций. Не будет преувеличением сказать, что его трактовка природы человека и сущности политической жизни более понятна в контексте "Никомаховой этики", нежели "Войны и мира", и это не противоречит его горячей любви к русскому народу и русской культуре. Но, являясь свидетелем оболванивания человека современной наукой с одной стороны, а с другой,— понимая, на какое величие способна человеческая душа в любых, самых нечеловеческих условиях, Солженицын попытался вполне закономерно заново открыть и фактически возродить почти забытую классическую и раннехристианскую политическую философию и сделать ее новой альтернативой современности.

Это было положительно принято гарвардской аудиторией. "Неизбежно пересмотреть шкалу распространенных человеческих ценностей и изумиться неправильности ее сегодня",— наставляет Солженицын. "Нам не избежать пересмотреть фундаментальные определения человеческой

жизни и человеческого общества”, если человек хочет ”спасти жизнь от саморазрушения”. Но в чем и где человек может вновь обрести смысл представления о Высшем Совершенном Существове? Отнюдь не в современной культуре и даже не на первоначальных этапах ее развития. Не в средневековье, которое достигло своего ”естественного конца”, исчерпав себя ”деспотическим подавлением физической природы человека в пользу духовной”. И вот тут-то, наконец, и открывается главное значение названия речи Солженицына — ”Расколотый мир”. Ведь мир раскололся именно в период между средневековьем и современностью. Но ”мир подошел сейчас к повороту истории, по значению равному повороту от Средних Веков к Возрождению, — и потребует от нас духовной вспышки, подъема на новую высоту обзора, на новый уровень жизни, где не будет, как в Средние Века, предана проклятью наша физическая природа, но и тем более не будет, как в новейшее время, растоптана наша духовная”. Однако, такое единство духовного и физического начала в человеке уже существовало на протяжении нескольких столетий в классическом мышлении, предшествующем средневековому. Но Солженицын ни словом не обмолвился об этом.

Когда Солженицын заявляет, что современный Запад не может быть моделью для преобразований в его стране, он прямо-таки наступает многим американцам на любимую мозоль: не нравится тут — можешь отправляться на

все четыре стороны. И все же он продолжает утверждать в своей незабываемой речи, что горечь в его словах была горечью правды, исходящей из уст не врага, а друга. "Враги никогда не говорят друг другу правды,— писал Токвиль. — Просто потому, что я друг, я позволю себе сказать подобные вещи (о демократии)". Речь Солженицына в Гарварде произвела на выпускников неизгладимое впечатление именно потому, что явилась напоминанием о вещах, смысл которых должен быть отвоеван вновь, если Запад хочет выдержать "суд нашего времени".

Солженицын старался донести до своих слушателей частью предостережение, частью пророчество, частью ободрение. Хотя "нравственный капитал христианских веков" исчерпан, естественное право и естественный закон опровергнуты, добровольное самоограничение тоже не принимается, все-таки у западного человека найдется время, чтобы выучить вновь уроки самоуправления. И если Солженицын требовательнее в отношении такого обучения, чем политик Токвиль, так это потому, что "силы зла начали свое решительное наступление", а у Запада время истекает.

НАША ВОЛЯ КРЕПКА

Начиная со времен Тома Пейна¹ американский народ не переставал получать наставления и советы от друзей из-за границы о целях и задачах республики, которые всегда и сам живо обсуждал. Явилась ли наша революция "сигналом для пробуждающегося человечества сбросить цепи", в чем не сомневался до конца дней своих Джефферсон,² или же она просто была войной за Независимость, как говорил всегда Джон Адамс? Том Пейн был в этом вопросе на стороне Джефферсона. Было ли "Единство", за которое мы сражались, как думал Вебстер³ накануне Гражданской войны, или же был прав Линкольн⁴ под Геттисбургом⁵? Десятки английских писателей учат нас тому, что думать по этому поводу. Да и сейчас, когда мы представляем собой великую силу, лидируем в конфронтации стран свободного мира по отношению к самому сильному репрессивному полицейскому государству в современной истории, дебаты все не затихают, а вместе с ними продолжают поступать советы и наставления. Лежит ли на нас ответственность за революцию в масштабах всего человечества, толчком для которой была наша революция? И Солженицын

This article appeared in *Time*, June 26, 1978, and is reprinted by permission.

в дождливый июньский день под малиновыми гарвардскими знаменами горючил все о том же, обращаясь с приветственной речью к выпускникам.

Солженицын — один из самых замечательных людей, ныне живущих на Земле. Великолепный писатель, что значит опытный и дисциплинированный наблюдатель жизненных реалий, человек благородного духа и нестигаемого мужества, подлинный герой, страдавший за свои убеждения как мученик. Но Солженицын, в отличие от своих предшественников старшего поколения, знает очень немного о нас и об американской жизни. Понятно, что его главной заботой была и есть его родина, пребывающая в состоянии агонии. Его сослало полицейское государство. И сослало потому, что жив в нем дух человеческий.

Он судит о республике так же, как судил бы ссыльный. Готовы ли мы, спрашивает он, противостоять тирании, господствующей сейчас на святой Руси и повсюду в Восточной Европе? Готовы ли мы рисковать жизнью в такой борьбе? Есть ли у нас мужество? Или же мы так разнежались от изобилия и мирского безразличия к вопросам духовным, что позволяем себе вообще сложить оружие? Он задает эти смелые вопросы здесь, в Гарварде, — но в вермонтской деревне, где он сейчас живет, он обращается с ними совсем к другой публике. Он и видел-то всего лишь нескольких американцев, и по-английски говорит лишь чуть-чуть. И то, что он знает о республике, он

знает не от живых свидетелей, но из телевизионных программ, которые представляют собой весьма удручающую пародию на американскую жизнь. Разница между нами состоит в том, что мы понимаем, что это пародия, и знаем то, что есть на самом деле, а он -- нет.

Он укоряет нас за что-то. Но на самом деле вины-то нашей нет, и для Солженицына ее бы не существовало, если бы он только мог поговорить со своими соседями в Вермонте, со своими коллегами-писателями, со своими ближними, с людьми окружающими его. Мы безответственны, заявляет он. Но мы ставим на первое место свободу, а потом ответственность, потому что мы свободный народ. Ведь свободный народ -- это тот, который управляет сам собой; свободный народ должен сам решить, каковы его обязанности; ведь нет никого, кто мог бы это решить за него,-- ни государственной полиции, ни государственной церкви,-- никого.

Если бы только он мог поговорить с нами -- если бы поговорил -- он бы узнал, что мы не безответственны, что мы налагаем на себя всяческие обязательства даже слишком часто.

То же самое и в отношении воли нашего народа, о которой он говорил нам в холодный, дождливый июньский день в Гарварде. Он сказал, что мы утратили волю, будто и впрямь он обращался к нам и познал наши души. Нет, он обращался не к нам и не имел никакого представления о наших душах. Только 40 лет прошло с тех пор, как Вторая мировая война поставила

нас перед проблемой, которая развалила бы нас совершенно, не будь мы такой свободной нацией и не будь мы готовы отвечать на любые вопросы и самим себе, и другим. Мы решили эту проблему. Мы пришли к соглашению о том, что мы должны делать. И сделали это. Мы достигли некоторой наивысшей точки в нашей истории. И мы не изменились в этом поколении и не изменимся ни в следующем, ни в следующем за следующим.

Если бы Солженицын поговорил с нами -- с парой своих вермонтских односельчан, или с теми, кто в Америке уважает его и восхищается им, он бы не сказал в Гарварде того, что сказал. Он бы понял, что мы знаем, кто мы такие и кем должны стать. Он бы понял, что мы как народ не утратили воли, что именно она, воля народа, заставляет нас верить в силу человеческого духа, во имя которого он и произнес свою речь.

¹ *Томас Пейн* (1737 – 1809), философ и политический деятель, выступал активно за немедленное провозглашение независимости Америки в 1776 году; публиковал "Кризис", периодический политический журнал времен Американской революции; участвовал в работе Комитета по иностранным делам (1777 – 1779). Был во Франции во время Французской революции и под впечатлением написал "Права человека" (1791 – 1792).

² *Джон Адамс* (1735 – 1826), второй президент США, подписал Декларацию независимости. Автор книг "Мысли об управлении" (1776), "Защита конституции правительства США" (1787 – 1788).

³ *Вебстер Даниэль*, крупный политический деятель Америки 30-х годов XIX века, в споре между сторонниками защиты прав штатов и сторонниками "Союза" активно отстаивал точку зрения последних.

⁴ *Линкольн Абрахам* (1809 – 1865), 16 президент США, ярый противник рабства, участник Гражданской войны. После поражения армии южан произнес историческую речь при открытии мемориального кладбища (ноябрь 1863), в которой прославлял героизм американских солдат, отдавших свою жизнь за свободу. Политический союз штатов был для него не самоцель, но лишь средство для претворения в жизнь идеи свободы, т. е. достижения такого состояния общества, при котором большинство граждан может наслаждаться своими правами.

⁵ Город в Южной Пенсильвании, где произошло решающее сражение (июль 1863) Гражданской войны.

СОЛЖЕНИЦЫН НАС НЕ ЛЮБИТ

Речь Солженицына перед выпускниками Гарвардского университета породила много разнотолков.

Его непосредственная аудитория, гарвардские выпускники, едва ли покинули двор университета с легким сердцем и головокружительным ощущением открывшихся перед ними новых горизонтов, которые им еще предстояло завоевывать. Бородатый пророк вещал без обычных любезностей, которые всегда выдавались вместе с дипломами. Выпуск 1978 г. не услышал ничего, что могло бы как-то подбодрить,— студенты ведь тоже незримые соучастники разложения Запада.

Конечно, никого не удивило высказывание, что мы должны были продолжать войну во Вьетнаме. Он сам из диссидентов, но ему не по вкусу наши диссиденты. Он сражался бы с коммунистами по всем фронтам.

Он презирает нашу прессу. Прежде всего он порицает ее за то, что она печатает "секретные материалы, относящиеся к вопросам национальной безопасности". Не было ничего поразительного так же и в том, что он считает нас людьми "поспешными, незрелыми, поверхностными и

This article is reprinted from the *Washington Star*, June 13, 1978, copyright reserved.

дезориентированными". Все это может быть отчасти и верно.

Но сам человек, высказавший все это, человек, который, пожалуй в XX веке самый талантливый и самый знаменитый из жертв государства, основанного на принципе секретности, сам человек в некотором смысле разочаровывает.

И не менее разочаровывают его доводы, когда он защищает форму правительства, удивительно напоминающую царизм. Хотя он и не поставил окончательно все точки над "и" и не провозгласил открыто необходимости возвращения к добрым старым временам, но это ясно подразумевалось в том, что он сказал о западных нерешительных политиках, окруженных "тысячами безответственных критиков", и "парламенте с прессой, которые его все время одергивают".

Цари, не важно хорошие или плохие, не имели таких проблем, а потому Солженицын утверждает, что "ограничения, налагаемые демократией" способствовали "триумфу посредственности".

"Выдающийся или особо талантливый человек", такой, как он, например, нашел бы лучший прием в имперской России.

Но ни что из того, что сказал Солженицын, не было так "против шерсти", как его отрицательный взгляд на наше общество. Все молчаливо ожидали, что после трех лет американской жизни он должен будет признать наше превосходство, что наш путь не только лучше, что он -- лучший.

По сравнению с архипелагом ГУЛаг Кавендиш должен быть раем на земле. И мы ожидали --

не важно, сознавая это или нет,— услышать это от него самого. Но он этого не сказал. Человек, боровшийся за свою собственную свободу с такой доблестью и так неотступно и описавший эту борьбу в литературных произведениях, ставших шедеврами, мог бы хоть раз поприветствовать общество, в котором всем доступна свобода, даже если она сопряжена с некоторыми безобразиями, упомянутыми им,— ”невыносимой музыкой” и порнографией.

Трудно допустить, что этот выдающийся человек, гигант, просто не любит нас. Трудно поверить, что он думает, будто мы делаем все в спешке, что мы поверхностны, наш ум перегружен ненужными сведениями, нам не хватает глубины в суждениях, и главное — духовности.

Может быть, нам лучше было бы перестать говорить все время о политике и поискать моральный смысл того, что сказал Солженицын в Гарварде; может быть, нам лучше было бы взглянуть на его речь с другой стороны, т. е. как на личное мнение консервативного, религиозного и ужасно тоскующего по родине русского.

От эмигрантов и политиков благодарности не дождешься. Солженицын постоянно напоминает нам, что он не эмигрант, а ссыльный.

Он русский, а на долю русских выпали самые тяжелые страдания в мире. В Соединенных Штатах нет ничего подобного этой одержимости и культа страдания, по крайней мере, если не учитывать одержимых культом благосостояния,

т. е. как раз тем, против чего Солженицын выступает, так как это разрушающе действует на душу.

Солженицын тоскует не по ужасам повседневной жизни в Москве. Он тоскует по отчаянно смелым людям, своим товарищам по борьбе, которую они вели с государством-монстром. Здесь он не встретил никого похожего на них. Он пишет: "Несомненный факт: расслабление человеческих характеров на Западе и укрепление их на Востоке... мы прошли душевную школу, намного опережающую западный опыт. Сложно и смертно давящая жизнь выработала характеры более сильные, более глубокие и интересные, чем благополучная регламентированная жизнь Запада".

То же самое вы можете часто услышать и от других советских диссидентов. Они тоскуют по родине. Для диссидента жить в Москве страшно, но жизнь эта упоительна. В этой жизни есть цель и рубеж, переступить который опасно. Ощущение единства, которое некоторые люди испытывают в ночном дозоре, на сторожевой заставе или в присутствии смерти, так всеохватывающе и постоянно. Да, вполне возможно, что в следующий момент кто-то из них окажется в психбольнице или в трудовом лагере, но пока они свободны, они могут раз в неделю позвонить одному из благороднейших людей на свете — Андрею Дмитриевичу Сахарову. Пока они живы и дышат, они живут полной жизнью.

Как и Солженицын, они очень огорчаются, когда видят свободу какова она есть без прикрас:

безграничную свободу выбора, конкуренцию -- состояние близкое к хаосу. Человек ожидает чего-то большего от нее, ведь и мы ожидали чего-то иного от речи Солженицына в Гарварде.

Артур Шлезингер, младший

СОЛЖЕНИЦЫН, КОТОРОГО МЫ СТАРАЕМСЯ НЕ ЗАМЕЧАТЬ

Откуда все это зло нисходит на нас? Не потому ли, что мы оставили Господа?... Не свидетельствуют ли наше безрассудство и беззаконие против нас? Не продвинулись ли мы слишком далеко, особенно в наших тихих гаванях, по пути гордыни и роскошества жизни? Не является ли это фактом, очевидным для всех, что богохульство, невоздержанность, утрата целомудрия, любовь к наслаждениям, мошенничество, жадность и другие пороки умножаются среди нас год от года?... Всегда ли наши государственные мужи действовали честно?

Самуэль Лэнгдон, Президент Гарварда, 1775

Голос, прозвучавший во дворе Гарварда 8 июня, не удивил бы гарвардских слушателей первых поколений. Ибо Александр Солженицын возродил древнюю и в тех краях забытую традицию апокалиптического пророчества. Он не только выглядел, он звучал как ветхозаветный герой. И он обратился к Америке со страстной проповедью, с предупреждением о надвигающейся опасности, о прогрессирующем зле и грядущей расплате; он призывал Америку покаяться

This article appeared in the *Washington Post*, June 25, 1978, and is reprinted by permission.

в грехах, оставить своих идолов и пасть ниц пред "Высшим Совершенным Существом".

Из ныне живущих лишь немногие обладают бесспорным правом считать себя пророком. Солженицын является человеком исключительного благородства и необыкновенной храбрости. Могучий писатель и добросовестный историк, он как художник и моралист принял на себя страдания своих соотечественников и с потрясающей силой именем советских людей и русской истории осудил отвратительный режим. Когда Солженицын говорит, мир обязан слушать. Но он должен слушать внимательно, отдавая себе отчет в том, что пророчества могут быть догматичны, а пророки не всегда непогрешимы. "Пророчествование,— однажды сказал Менкен,— напоминает писание фуг: безнадежное дело для всех, за исключением абсолютных гениев".

В Гарвардской речи Солженицына, как и в любом другом пророчестве, чувствуется недостаток четкой последовательности доказательств. Досужий читатель вместо того, чтобы попытаться разложить его рассуждение на отдельные составные части, обратил внимание, главным образом, на его более сенсационные утверждения, например: "падение мужества — может быть самое разительное, что видно в сегодняшнем Западе постороннему взгляду". Этот упадок мужества,— продолжает он,— "особенно сказывается в прослойках правящей и интеллектуально ведущей". И, как следствие, международная политика, в основе которой

”слабость и трусость”. Тот факт, что американцы отказались вести войну во Вьетнаме до победного конца,— самый печальный и, возможно, самый убедительный пример ”потери силы воли на Западе”.

Солженицын уверен и в том, что Соединенные Штаты точно так же проиграют и на внутреннем фронте. ”Широкие просторы”, которые получила ”разрушительная и безответственная свобода”, обернулись ”бездною человеческого падения”, ”отвратным напором реклам, одурением телевидения и непереносимой музыкой”, порнографией, преступлениями и ужасами. А всеобщая ориентация на закон, господствующая в американском обществе, превратилась в искусственный заменитель самодисциплины.

С его точки зрения, самое опасное — это неограниченная свобода, предоставленная прессе. Средства массовой коммуникации продажны и безответственны, не желают признавать и исправлять ошибки, забивают голову ”поверхностными и заблудительными суждениями” и ”безудержным обременяющим потоком сведений”. Да, верно, что ”пресса стала первой силой западных государств”. ”А между тем,— спрашивает Солженицын,— по какому избирательному закону она избрана и перед кем отчитывается?”

Легко, хотя и не имеет особого смысла, проводить параллели между позицией Солженицына и генерала ЛеМейя¹ в вопросе о Вьетнаме или между позицией Солженицына и газеты

”Правда” в вопросе о порнографии, или между суждениями Солженицына и Спиро Т. Агню об американской прессе. Но несомненно эти проблемы глубоко затронули сердца многих американцев.

Однако его конкретные суждения по конкретным проблемам не так легко отделить от его космической философии. Интересно, много ли аплодирующих ему людей в Гарварде действительно понимали, что Солженицын на самом деле имеет в виду.

Хотя, вероятно, что аплодирующих Солженицыну больше, чем читающих Солженицына. В его гарвардской иеремиаде² можно найти суждения по очень широкому кругу вопросов. Он убежден в том, что Запад развивается по ложному пути начиная со времен Возрождения и Просвещения XVIII века. ”Мы отринулись из Духа в материю — несоразмерно, непомерно”.

Коммунизм — мерзость, но, впрочем, и капитализм омерзителен. Коммерческие интересы готовы задушить духовную жизнь. Или, как Солженицын сформулировал ту же мысль в 1973 году, ”в буржуазной экономике никогда не существовало никакого побуждения к самоограничению... То, что социализм расцвел пышным цветом, было ответом на бесстыдную неограниченную погоню за деньгами”. Несмотря на все их различия, коммунизм и капитализм в равной степени являются конечным результатом ”логики материалистического развития”.

Подобно консервативным поклонникам Солженицына, которые будут оспаривать его

взгляды на капитализм, либеральные поклонники станут оспаривать представления о демократии, которые его великий соратник Андрей Сахаров охарактеризовал в 1975 году как "неверные и настораживающие". Сахаров, напротив, хочет развития либерализации и демократизации в Советском Союзе. Он призывает к многопартийной системе и установлению гражданских свобод. Мало что может быть более далеким от того, что предлагает Солженицын. В 1975 году он отклонил сахаровскую программу как еще один пример российского "традиционного повторения Запада".

"Общество, в котором политические партии активны, никогда не совершенствуется в моральном смысле... Разве не правда, что национальное развитие идет сверхпартийными и надпартийными путями?" Что касается гражданских свобод, то "Запад,— писал Солженицын в 1969 году,— более чем перенасыщен всякого рода свободами, включая интеллектуальную, а разве помогло это ему? Мы видим сегодня, как он ползает на коленях, насколько парализована его воля". (Это было за 5 лет до того, как его сослали. Следовательно, его Гарвардская речь повествует не о том, что он открыл, приехав на Запад, а о том, в чем он всегда был уверен.)

"Бессмысленно рассматривать свободу как цель нашего существования,— заявил он в 1973 году.— А потому ошибочно стремиться к политической свободе как к чему-то наипервейшему и наиглавнейшему". Так же бессмысленно рассматривать земное счастье как цель существования.

В обращении к выпускникам он явно отрицал, что "человек рожден, чтобы быть свободным и стремиться к счастью (см., например, Американскую Декларацию независимости).

Словом, Солженицын не верит в возможности того, что он называл в своей речи "путем западной плюралистической демократии". "Веками люди жили без всякой демократии, -- писал он в 1973 году, -- и не всегда это было так уж плохо". Россия в условиях авторитарного правления не переживала таких ужасов саморазрушения, как в XX веке, и на протяжении десяти веков наши крестьянские предки умирали, не чувствуя, что их жизнь была прямо-таки "непереносимой". В "патриархальных" обществах "люди действительно испытывали то счастье, о котором мы знаем только понаслышке". Более того, им удавалось сохранять здоровье нации. Другими словами, "уровень морального здоровья был несравненно выше, чем сейчас, когда по радио только и передают, что обезьянью музыку, популярные песенки и унижительные рекламы". "Подрыв административной власти повсюду доступен и свободен, -- сказал он в Гарварде, -- и все власти западных стран резко ослабли".

Демократии с ее слабостью, посредственной и моральной неразберихой он явно предпочитает системы, "основанные на подчинении власти".

Он пояснил, что отрицает советскую систему "не потому, что она не демократична, авторитарна, основана на физическом принуждении --

человек может жить в таких условиях без ущерба для своей духовной сущности". Он отрицает эту систему "не только и не столько из-за ее физического давления, но из-за того, что она полностью завладевает нашими душами". Авторитарные режимы "как таковые не страшны— только те, которые неподконтрольны никому и ничему". В религиозные эпохи самодержцы "чувствовали себя ответственными перед Богом. В наше время самодержцы опасны именно потому, что трудно найти высшие ценности, которые сдерживали бы их".

Солженицынский идеал политического устройства не имеет ничего общего с либеральной демократией. "Но если меня спросят... , хочу ли я предложить своей стране в качестве образца сегодняшний Запад как он есть, я должен буду откровенно ответить: нет..." Его идеал -- это христианский авторитаризм, т. е. управление, осуществляемое богобоязненными деспотами без каких-либо политических институтов, партий, интеллектуальной свободы и чрезмерной заботы о всеобщем счастье. Репрессии и в самом деле полезны для души. "Мы вознаграждены в нашей борьбе с окружающей средой тем, что усовершенствуемся духовно", — писал он в 1973 году.

Даже сейчас, заверяет нас Солженицын, в Советском Союзе более здоровая моральная атмосфера, чем в Соединенных Штатах. "Для того богатого душевного развития, которое уже выстрадано нашей страной в этом веке,— сказал он в Гарварде,— западная система в ее

нынешнем духовно истощенном виде не представляется заманчивой". Декларация Независимости провозглашает жизнь, свободу и стремление к счастью, но Солженицын противопоставляет им силу, рожденную в страдании.

Для Солженицына с его органическим взглядом на общество нация в гораздо большей степени, чем индивид, является основной моральной единицей. Нации с таким же успехом могут быть охвачены мистикой страдания. Нации — это "очень живые образования, им доступны любые нравственные эмоции, включая раскаяние, каким бы болезненным оно подчас ни было". В своей потрясающей статье "Раскаяние и самоограничение в жизни наций", опубликованной в 1975 году, Солженицын доказывает, что "в настоящий момент раскаяние есть вопрос жизни и смерти", и раскаяться мы должны не ради потусторонней жизни, а ради того, чтобы "просто выжить здесь, на земле".

Раскаяние, говорит Солженицын, поведет нации по пути самоограничения. "Такое изменение будет далеко не легким для свободной экономики Запада. Это коренная ломка и всеобщая переделка всех наших представлений и целей. Мы должны отречься от пагубного желания все большего распространения, от постоянной борьбы за новые рынки сбыта и источники сырья, от расширения наших промышленных территорий и объема производства, от сумасшедшего стремления к процветанию, славе, изменению".

Но международную политику своей собственной страны он тоже прокликает: "Мы готовы самонадеянно брать ответственность за любую страну, как бы далеко та не находилась от нас. Мы обязательно должны вмешаться в любые конфликты на любом континенте, мы диктуем законы, разжигаем ссоры, бесстыдно пропагандируем оружие, пока оно не стало основным предметом экспорта".

И все это, продолжает он, чревато катастрофой. "Давайте же просто оставим все наши попытки восстановить порядок за океаном, расстанемся с нашими имперскими намерениями по отношению к соседям, которые хотят жить своей собственной жизнью сами по себе... Мы должны прекратить каждый раз выбегать на улицу, чтобы поучаствовать в очередном скандале, и вместо всего этого мы должны тихо и спокойно сидеть дома до тех пор, пока сами находимся в состоянии беспорядка и смешения". Нация должна сосредоточить все свои усилия на решении внутренних проблем: на исцелении своей души, образовании детей, установлении внутреннего порядка. "Должны ли мы сражаться за теплые моря далеко-далеко, или же стремиться к тому, чтобы теплота, а не вражда господствовала в отношениях между нашими гражданами?"

Так могли говорить и Джордж Кеннан, и Джордж МакГоверн³. Но когда американцы, раскаявшиеся в том, что совершили во Вьетнаме, призывают к самоограничению, Солженицын вместо того, чтобы радоваться новообращенным,

называет их трусами. Неужели он действительно верит в то, что "настоящая" бомбежка Вьетнама, которая не оставила бы от него камня на камне, и есть проверка мужества?

И все-таки пророки не всегда последовательны. Скорее всего, Солженицына как пылкого русского националиста более занимает спасение России, чем спасение Америки. Но тем не менее ему не следовало бы выражать столько презрения к американцам, которые, в свою очередь, хотят спасти свои собственные души. Или это презрение является вполне понятным разочарованием человека, который старается поведать Западу об истинной природе советской тирании и наталкивается на вежливое самодовольство.

Накануне Второй мировой войны Артур Кестлер⁴ писал с таким же разочарованием о британцах, которых жертвы нацизма не могут заставить поверить их личным свидетельствам о гитлеровском терроре. Позже Кестлер пришел к выводу, что британцам не хватало не мужества, а воображения. Несомненно, все тот же недостаток воображения заставил Британию один на один противостоять Гитлеру после падения Франции. Возможно, Солженицын так же мало понимает Соединенные Штаты, как мало понимал Кестлер Британию в 1939 году.

В Гарварде лишь фрагментарно проявилось солженицынское всеобъемлющее видение природы человека и его судьбы. Как для наций, так и для отдельных индивидов оздоровление

может прийти только через покаяние в грехах и признание суверенитета Всемогущего. Эти представления показались бы знакомыми пуританским священникам, которые проповедовали в Гарварде три века назад. В них есть предчувствие Армагеддона, заключительного сражения с Сатаной. "В свое решающее наступление уже идет и давит мировое Зло", — прокричал Солженицын в Гарварде. Это сон тысячелетней давности. Уже в книге Даниила и Откровении можно прочесть о том же: "Мир подошел сейчас если не к гибели, то к повороту истории... и потребует от нас духовной вспышки...".

Это возвышенное, ищущее видение мира. Его величие и глубина, его восприятие зла как изначально присущего человеческой природе показывают, насколько поверхностна религиозность воскресшего Белого Дома, который, в отличие от Августина и Кальвина, придерживается доктрины о добром начале в человеке и, следовательно, стремится создать правительство под стать американскому народу, т. е. такое же хорошее, честное, добродетельное, любящее и т. п., как и он сам по природе своей. Резкая и серьезная критика американской самодовольной ограниченности и гедонизма, пошлости нашей массовой культуры, утраты самодисциплины и гражданского духа является очень оздоровляющим и ценным.

В этом Солженицын вполне разделяет установки наших пуританских предков. Но дальше пути их расходятся. Вера Солженицына проникнута потусторонним мистицизмом русской

церкви — мистицизмом, который отражал политический абсолютизм русского общества. Согласно русским религиозным критериям, земное счастье ничто перед Судом Божиим.

Пуританская традиция была более эмпирична. Даже новая англиканская церковь должна была смягчить свою концепцию божественной суверенности и сделать уступку примитивной демократичности общества, основанного отнюдь не на системе предписаний, общества, в котором люди живут своим собственным трудом. В XVIII веке кальвинизм усвоил учение Джона Локка. Это и стало философским основанием американского экспериментирования с демократией.

Вот почему эти две традиции расходятся и в этом причина чуждости Западу солженицынской концепции с ее боязнью человеческой свободы, безразличием к человеческому счастью, презрением к демократии и верой в авторитарное государство. Величайший американский теолог нашего времени Рейнхольд Нибур давным-давно оставил все мистические иллюзии насчет того, что у наций имеются души, как у людей. И, конечно же, он не допустил бы ни на секунду, что правители, признающие религиозную веру, более защищены, чем все остальные от коррупции власти. "Наихудшая коррупция,— сказал он однажды,— есть коррупция религии", и "именно человеческая способность быть справедливым делает возможной саму демократию, но человеческая склонность к несправедливости делает демократию необходимой".

В Гарвардской речи Солженицын еще раз отметил, что Запад никогда не понимал Россию. Можно возразить, что Солженицын никогда не понимал Америку. Он приехал сюда, заранее все зная об американском упадке и трусости, и, очевидно, ничего из того, что он почерпнул из средств массовой коммуникации, не могло переубедить его. Как сказал Арчибальд МакЛейш, "то, что он знает о республике, он знает не от живых свидетелей, но из телевизионных программ, которые представляют собой весьма удручающую пародию на американскую жизнь. Разница между нами состоит в том, что мы понимаем, что это пародия, и знаем то, что есть на самом деле, а он -- нет."

Более того, он появляется как посланник Бога. "Истина ускользнет от нас, -- говорит он, -- если мы полностью не сконцентрируемся на ней". Но о себе он думает, что он полностью сконцентрировался на истине и не сомневается в том, что она ему ведома.

Американцам трудно допустить понятие абсолютной истины. Если абсолютная истина и существует, то наверняка ее бы не доверили хилым и грешным простым смертным. Дулей давным-давно определил фанатиков как людей, которые делают то, что, как они думают, "сам Господь сделал бы, знай он положение вещей". Джефферсон в своей первой инаугурационной речи сказал: "Иногда говорят, что человеку нельзя доверять в управлении самим собой. А можно ли тогда доверять ему в управлении другими? Или смогли ли мы найти ангелов в

образе королей, чтобы управлять ими? Пусть история ответит на этот вопрос". И в XX веке история ответила на этот вопрос с потрясающей определенностью. Паскаль в свое время сказал: "К сожалению, тот, кто мог бы вершить дела ангельские, ведет себя как скотина".

Пророчество — христианская добродетель, но и смирение — тоже. Зная о преступлениях, совершенных во имя одной лишь истины, американцы предпочитают прислушиваться к разноголосью земных истин, спорящих друг с другом. Мы всегда были народом сомневающимся, экспериментирующим, приспособливающимся, самокритичным, отстаивающим путь постепенных реформ, которые ведут к поставленной цели. Т. е. мы всегда сочетали в себе черты, неприемлемые для авторитарной и мессианской личности и вполне приемлемые для нас самих.

В 1678 году американцев проклинали так же, как Служеницын проклинал их в 1978 году. Судный День тогда был так же близок, как и теперь. Мы рады приветствовать Солженицына здесь и отдаем должное искренности его свидетельства и благородству его намерений. Но он должен понимать, насколько его величественное видение не подходит демократическому и либеральному обществу.

Как всегда, лучше всего это звучит в устах Эмерсона:

Я люблю церковь, монашеское одеянье,
капюшоны,
Я люблю пророков души,

И в моем сердце монашеские тропинки
блуждают как отрадные мелодии или
задумчивые улыбки.

И все же несмотря на всю его веру
Я не могу представить себя облаченным
в рясу.

¹ *Ле Мей*, генерал военной авиации (конец 50-х – 70-е годы), его имя стало нарицательным благодаря тому, что он не раз высказывал, и в очень откровенной форме, идеи о необходимости милитаризации Америки.

² Специальный жанр, выражающий великую скорбь, горе, стенания, причитания, плач, жалобы. Назван так по классическому библейскому образцу "Плач Иеремии" – Прим. переводчика.

³ *Джордж МакГоверн*, сенатор-демократ, активный противник Вьетнамской войны.

⁴ *Артур Кестлер*, очень разносторонний и увлекающийся писатель и публицист, венгерский еврей, одно время увлекался коммунистическими идеями, участвовал в испанской гражданской войне; эмигрировал в Англию, где стал антифашистом и антикоммунистом в 30-е годы. Автор одной из первых книг о культе личности Сталина "Тьма в полдень". Много времени посвятил изучению истории евреев и современных культурных и политических проблем Израиля. Автор книги "13 колена".

ЧАСТЬ II

БОЛЕЕ ПОЗДНИЕ РАЗМЫШЛЕНИЯ

Рональд Берман

ГЛАЗАМИ ЕВРОПЕЙЦА

*Перемахни одним прыжком через все свои
законы
И создай человека по образу и подобию Бога.
Венец творенья,
Пойми, что добродетель ограничена
и все ее привязанности презренны,
Усматривай все в себе и только для себя
будь рожден*

Александр Поп "Дунсиада"

Солженицын затронул проблему, обычно не обсуждаемую литераторами, выступающими по вопросам общественной жизни. Вудсворт¹ достаточно долго прожил, чтобы раскаяться в своих взглядах на французскую революцию. Шоу, Итс и Паунд сохранили свою репутацию на высоте несмотря на их политические взгляды. Всего нескольким писателям и художникам удалось покорить мир своими политическими убеждениями. Но Солженицын настаивает на том, что его представления о культуре и политике являются центральными в его творчестве и даже самой творческой работе.

Солженицына нельзя назвать великим писателем. Он очень хорош, лучше почти всех его современников, но он не входит в число классиков всемирной литературы. Нас трогает его искусство, потому что он великий человек, многие считают его мучеником или святым. Его литературные произведения имеют значение для нас, потому что они исторически убедительны и кажутся правдой. Немногие критики отважились бы усомниться в точности изображения коммунистического мира в его рассказах и в Архипелаге ГУЛаг'е. Его великая сила заключается в понимании и в живописании. В своем творчестве он совершенно удивительно изображает отношения между индивидуумом и государством. Он убежден — или, по крайней мере, был убежден до тех пор, пока не прочел своей речи в Гарварде, что имеет вполне достаточное представление о расстановке сил,— т. е. идеях, упованиях и нравственных критериях,— на поле битвы нашей современной культуры.

Речь Солженицына "Расколотый мир" интересна своим анализом западного мышления, а не своими замечаниями по поводу западных социальных институтов. Солженицын, например, просто не прав в своей критике прессы. Он смешивает также идею легализма и сущность правовой системы. Он утверждает, что интеллектуальная жизнь определяется средствами массовой коммуникации, хотя на самом деле пресса только отражает подъемы и спады, происходящие в жизни интеллектуальной элиты. Хотя

Солженицын, может быть, просто не знаком с действием всех этих социальных институтов, он прекрасно понимает, о чем идет речь, когда анализирует их культурный контекст. Его слабое место — трактовка отдельных специфически западных идей, но его общий анализ западных представлений и критику западного мышления в целом не так уж легко опровергнуть.

Очень многие ученые — и число их все время увеличивается — трактуют Просвещение почти так же, как Солженицын в "Расколоте мире". Это движение XVIII века, точнее какой-то его аспект, кое-что в этом движении способствовало развитию ничем не обоснованного и примитивного оптимизма в понимании человеческой природы и исторического прогресса. Просвещение является также источником нашего чрезвычайного доверия к силе разума и силе правительства, к разумности человека вообще и разумности управления в частности. Корни идей Солженицына глубже в истории; как указывает Джордж Уилл, это может быть св. Августин. Один из важнейших тезисов речи посвящен идее свободы:

'Но все же в ранних демократиях — также и в американской при ее рождении, все права признавались за личностью лишь как за Божьим творением, то есть свобода вручалась личности условно, в предположении ее постоянной религиозной ответственности — таково было наследие предыдущего тысячелетия. Еще 200 лет назад в Америке — да даже и 50 лет назад

казалось невозможным, чтобы человек получил необузданную свободу — просто так для своих страстей... Запад наконец отстаивал права человека даже с избытком — но совсем поблекло сознание ответственности человека перед Богом и обществом”.

Если Солженицын считает, что это соответствует намерениям основателей Американской Конституции, то многое здесь вызывает возражение. Самое существенное во взглядах авторов ”Документов Федералистов”² оказалось упущенным. Лишь как историческое описание это более или менее похоже на правду. Свобода является более христианским, нежели античным понятием. Оно исходит из универсальной ценности человека, даже раба. С чисто психологической точки зрения, интуитивно, это описание тоже кажется правильным: свобода никогда не может быть абсолютной, и на нее всегда будет распространяться принцип сокращения сдачи. Было бы весьма отрезвляющим сравнить то, что говорит о свободе Солженицын, с концепцией свободы Ханны Арендт в ее книге ”Человеческое состояние”. Рассмотрим следующий отрывок из этой великолепной книги:

”Трудность подхода к современным теориям бихевиоризма состоит не в том, что они не верны, а в том, что они могут оказаться правильными, в том, что они, в сущности, лучшая из возможных концептуализаций определенных и весьма явных тенденций в современном

обществе. Можно легко допустить, что современный век, начавшийся такой необычной и многообещающей вспышкой человеческой активности, кончится наимертвейшей и наименее плодотворнейшей человеческой пассивностью. Человек может пожелать превратиться — и в самом деле превратится — в того животного, от которого, как он думает со времен Павлова, произошел.”

(*Даублей, 1959, стр. 295*)

Из этих отрывков ясно, что и Солженицын, и Арендт разделяют убеждение, что секуляризованное общество основано на ценностях, которые не выработаны им самим, и что оно является чем-то менее значительным, чем оно должно было бы быть, потому что оно требует от себя меньше, чем ему следовало бы.

Далее Солженицын анализирует недостатки типа мышления, сформированного Просвещением, очень неглубокие представления о человеческом поведении, моральных нормах и социальной ответственности. "Нью-Йорк Таймс", по-видимому, ссылается именно на эти отрывки, когда говорит о конфликте между двумя мировоззренческими установками: просвещения и религиозного фанатизма. Я думаю, что здесь газета ошиблась. Я полагаю, Солженицын имел в виду, что одних просветительских *намерений* недостаточно, чтобы объяснить реалии человеческого мира. Ведь он так сложен, а иногда просто иррационален, что бессмысленно укладывать его в прокрустово ложе механических, мате-

риалистических или рационалистических объяснений или допускать, что человеческое поведение можно видоизменить, характер переделать, а восприятие — поменять.

Газета "Таймс" также считает, что в речи Солженицына рассматривается проблема противоборства Бога и Дьявола. Хочется верить, что тамошние редакторы никогда не сомневались в вопросе об утерянном рае. Это эпическое предание повествует о том, как придать смысл человеческой истории. И речь Солженицына о том же, но только она более откровенна.

Конфликт действительно существует, но это конфликт между разными типами социального анализа. Автор "Расколотого мира" подобен тем, кто прочитав Берка³, Киркегора и Фрейда, начал вполне естественно сомневаться в возможностях человеческого разума, и кто отнюдь не ожидает скорейшего прекращения всяческих недовольств и разочарований в отношении цивилизации. Вполне возможно также, что Солженицын -- преданнейший (безнадежно, до мозга костей) из русских православных. Но перечисленные аргументы не затрагивают существа его рассуждения. Гарвардская речь не есть апология религиозного содружества. В ней последовательно проводится мысль, что природа человека может быть лучше всего понята в религиозных терминах. Допуская некоторый иррационализм в структуре человека и общества, Солженицын далеко не упрощает вещи. Он применяет сложную технику в анализе того, что в действительности сложно.

Самое важное в речи Солженицына — это видение западного мира глазами западного человека. Все ранние комментарии сходились в одном: речь оказалась не тем, чего ожидали. Сделав такое умозаключение, критикам ничего не стоило сделать еще одно, а именно: то, что сказал Солженицын полностью выходило за рамки их опыта и их традиций. Но если читать речь спокойно и не торопясь, как читают ученые, станет ясно, что Солженицын говорит об очень знакомых вещах. Любая самая элементарная, самая классическая антология западной мысли наверняка включает анализ тех же самых идей. Десятки писателей, начиная со св. Августина, посчитают эти идеи своими. Возьмите, например, газетные эссе Джонсона⁴, которые полны теми же нравственными заботами, что и речь Солженицына. Именно Джонсон писал, что независимое нравственное действие (моральный поступок) включает в себя сочетание нескольких парадоксов: человеческое счастье должно иметь какое-то назначение, ибо, если бы счастье было само по себе целью, тогда все, ведущее к ней, можно было бы оправдать.

В откликах на речь много критиковали отношение Солженицына к средствам массовой коммуникации, к закону, а также его морализаторство по отношению к культуре. Утверждения, приведенные ниже, были бы расценены критиками как неприемлемые:

”Законы лучше всего объясняются, толкуются и применяются теми, кто заинтересован в их извращении, смещении и

уклонении от них, а также способен на это.”

”Ни в какой другой стране я не видел более противной, мелочной, глупой и бесстыдной прессы, чем в Америке.”

”Религия утверждает, что Царство Божие внутри нас; культура подобным же образом утверждает, что человеческое совершенство — это *внутреннее* состояние. Оно достигается, когда наше подлинное человеческое начало в результате долгого развития начинает преобладать над нашим животным началом.”

Эти высказывания, очень близкие по духу Гарвардской речи Солженицына, которую критики считают вещью исключительной, принадлежат другим авторам. Первое взято у Свифта, к такому выводу пришел король в ”Приключениях Гулливера”, когда ему объяснили, как устроена западная жизнь. Большинство читателей согласятся, что король в этой книге олицетворяет носителя моральных норм и, что автор вкладывает в его уста свое собственное мнение. Второе суждение высказано Чарльзом Диккенсом после завершения его лекционного турне в Америке, во время которого он натерпелся изрядно от репортеров и газет. Третье принадлежит Метью Арнольду⁵. Это цитата из его статьи, где обсуждается противопоставление ”культуры” и ”анархии”, свойственное современному сознанию.

Можно согласиться с теми, кто рассматривает творчество Солженицына только в традиции русской национальной литературы. Он действительно много пишет о русском характере и проблемах русского общества. Его представление об идеальном обществе — это Россия без коммунизма. Но согласиться с теми, кто говорит, что "Расколотый мир" это произведение, целиком и полностью определенное национальными идеями и религиозной верой автора, нельзя. Подобно большинству из нас, Солженицын принадлежит сразу ко многим культурным традициям. В какой-то степени это признается, когда его называют пророком и сравнивают с еще большими моральными абсолютистами, чем он сам, — западными пуританами, хотя понятно, что намерение комментаторов в этом случае состоит лишь в том, чтобы отнести его к мыслителям прошлого. Я полагаю, что Солженицына с одинаковым успехом можно рассматривать в русле западной традиции. Иными словами, он не только пророк. Он напоминает Свифта и Берка не только по своим установкам. Он формулирует аналогичные идеи и доказывает их аналогичным образом. Все они — и Солженицын, и Свифт, и Берк — мыслители, занимающие антипросветительскую позицию. Местами в творчестве Солженицына появляются идеи, очень знакомые даже широкому читателю. Он, например, далеко не оптимистичен в отношении человеческой природы и возможностей рационального управления человеческим поведением. Он считает человеческое поведение чем-то более сложным, чем просто "что-то иррациональное". Он

не верит ни в какой материализм и более-менее терпит свободу. Может быть есть какая-то разница в формулировках, но то, что Солженицын имеет в виду под словом "материалистический", Михаэль Оакшотт определял как "рационалистическое" в политическом поведении человека. Короче, читатели-консерваторы обнаружат, что произведения Солженицына во многом напоминают произведения, которые формировали их собственное мировоззрение.

Но широкий читатель найдет в Солженицыне не только это.

"Расколотый мир" — это образец современной литературы. Речь оперирует идеями, высказанными Ницше, Конрадом, Фрейдом, Элиотом и другими мыслителями, которые, по нашему мнению, заложили основания современного типа мышления. Не славянофилы, а модернисты открыли для искусства новые великие темы: конфликт внутри человеческого сознания, пустоту наших социальных и политических представлений, ответственность, которая лежит на каждом, способном осознавать происходящее.

Солженицынская установка по отношению к миру не есть пессимизм религиозного ортодокса, но сомнение, которое уже было свойственно, например, Конраду, когда он задумывался над плодами цивилизации, которая определялась исключительно в терминах политических идеалов. Это — обеспокоенность, свойственная всем писателям, понимающим, что в нашем обществе, каким бы великолепным, пленяющим и удовлетворительным оно ни казалось, есть

язвы, смертельно ему угрожающие. Анализируя речь Солженицына, не достаточно отметить эксцентризм русской культуры XIX века или сравнить то, что он сказал, со случайными высказываниями Толстого и Достоевского. Тогда среди русских писателей многие серьезно увлекались разными религиозными и философскими идеями. По интеллектуальной традиции Солженицын близок к ним, но в своих произведениях он, как Лоуренс и Фрейд, благодаря исключительной интуиции приходит к выводам, которые толпа сначала отвергает. Толпа во дворе Гарвардского университета поступила так же.

Теперь многие в курсах лекций по культуре XX века отразят те же проблемы, о которых говорил Солженицын, и будут пользоваться тем же языком. Но такой курс может прекрасно начинаться и с произведений Т. Хальма⁶, чья социальная философия и философия искусства были высоко оценены Хербертом Ридом⁷ и Яковом Эшлтейном⁸, идеи которого глубоко повлияли на Элиота и Паунда. Основной темой Хальма, как и Солженицына, было то, что они оба называют "гуманизмом". Солженицын считает, что идеология Возрождения ориентировала западного человека только на себя, и поэтому он поставил во главу угла материальные ценности. Он перестал верить в существование зла и начал верить в свое доброе начало и в то, что у него есть право на вознаграждение за это. Вероятно, лишь немногие ученые не согласятся с таким заключением, хотя возможны существенные разногласия относительно причин такого изменения

мировоззренческой позиции человека. Мне кажется, что Солженицын смешивает идеи, высказанные самими гуманистами, с более поздним развитием этих идей и типа поведения, основанного на них. Гуманисты Возрождения снабдили нас серьезной литературой о нравственных ценностях. Но если сравнить "Размышления" Хальма с речью Солженицына, то можно увидеть, насколько различны точки зрения авторов, как по-разному они объясняют причины возникновения и последствия определенных европейских представлений. Хальм далеко не в русле модернизма доказывает, что религия — нечто большее, чем просто нравственная необходимость. Он противопоставляет социальные институты индивидуумам, которые некоторым случайным опытом оказались вне их структуры. У него есть очень интересные замечания на этот счет, очень похожие на то, что Солженицын говорил о характерах во времена социальных кризисов. Солженицынское обвинение Запада в моральной слабости и гедонизме — это не его чудачество, но результат глубокого проникновения в сущность того явления, которое Хальм назвал "радикальным несовершенством" личности на данном этапе исторического развития западной культуры. Это же явление — предмет очень глубокого критического анализа в недавней книге Кристофора Леша⁹ "Культура нарциссизма".

Солженицын пишет не только о "более сильных, более глубоких и более интересных характерах", сформированных вне западной культуры, но и о неспособности Запада создать

истинное народное управление. В этом его взгляды несколько отличаются от взглядов Джорджа Сантаяны¹⁰ в его эпохальной книге "The winds of Doctrine". Но нижеследующая цитата из этой книги могла бы быть цитатой из "Расколотого мира":

"Если хаос объят нравственный мир наций достаточно крепко, то вряд ли можно ожидать, что они произведут на свет великих личностей. Великий человек не обязательно должен быть добродетельным и его мнения не обязательно должны быть правильными, но у него должен быть решительный ум, выдающийся, яркий характер. Если его предназначение— преобладать в чем-то, то что-то должно преобладать в нем самом".

Харпер, 1957, стр. 20

Солженицын разбирает этот вопрос в главе, озаглавленной не "Добродетель", но "Мужество". Я не знаю читал ли он статью Сантаяны "Модернизм и христианство", но тем, кто ее читал, ясно, что в Гарвардской речи больше чьих-то идей, чем его собственных.

В начале XX века жил и творил другой писатель. У него было много что сказать о движущих мотивах политической жизни и о сущности общественного устройства. Это Конрад, в творчестве которого мы находим все те же знакомые темы: ложность представлений о совершенстве

человека в "Сердце темноты", "эгоцентричная наивность" в "Секретном агенте" (формулировка принадлежит известному британскому критику Ф. Левису), скептическое отношение к ничем не обоснованному утверждению о человеческой добродетели в "Ностромо". Говорить о пессимизме Солженицына относительно природы человека и его судьбы, значит полностью игнорировать взгляды других глубоких и зрелых мыслителей нашего времени, которые тоже были "пессимистами".

Еще один пример, обязательный в любом анализе современного сознания,— Т. С. Элиот. В великолепном эссе "Вторичные мысли о гуманизме" он подробно останавливается на анализе идей, которые в его время обсуждались всеми, а теперь обсуждаются Солженицыным. Ведь это Элиот написал: "Если я преуспел в доказательстве того, что гуманизм без религии ущербен, то что же остается тем, кто не может верить?" Элиот занимался проблемами, связанными с современным гуманистическим сознанием, гуманизмом начала XX века, который если и представлял собой какое-то продолжение гуманизма эпохи Возрождения, но никак не был ему тождественен. В существе своем это секуляризованная вера в способность человека сформировать свой характер и определить свою судьбу. В ответ на утверждение, что религия это исключительно область чувства, обряда и просто морального комфорта, Элиот, перефразируя высказывание Хальма, отвечает: "Я не покончу с догмой ради чувства, я могу скорее проглотить чувство ради

догмы". Здесь "догма" означает религиозное сознание человека и общества. Точка зрения Хальма такая же, как у Солженицына: он осуждает западное общество скорее за бедность восприятия, чем за то, что оно не в состоянии удовлетворить его духовные запросы.

Современная мысль не оставляет попыток найти смысл в нашем образе жизни. Начиная с Элиота и Паунда, которые писали об ограниченности секуляризованного разума, вплоть до Ирвинга Кристоля¹¹, который доказывал, что из-за пропитанности материализмом капитализм не способен отразить нападки своих собственных интеллектуалов; все признают, что Запад не выработал морального императива для обоснования стремления к процветанию. И Солженицын, критикуя Запад, видит его глазами именно западного человека.

В речи Солженицына есть два уровня. Критика коснулась в основном одного. отождествлять Солженицына исключительно с русским православием и его интеллектуальным бессилием значит начисто отрицать саму возможность, что Солженицын также может принадлежать и к другим традициям. А ведь он глубоко затронул именно те проблемы, из-за которых мы очень не любим многих из наших западных мыслителей. Возможно, мы просто спутали эти два подхода в критике Запада. В "Расколоте мире" описываются условия, необходимые для создания подлинно свободного общества. Да, речь очень критична по отношению к Западу, но в ней нет сарказма. Фактически в ней защищаются те ценности, которые

способствовали созданию западного мира и западной культуры, сделали Запад таким, каков он есть. Самое главное в речи — проблема свободы, сущность свободы, ограничители свободы и ценность свободы. К сожалению, критика больше обратила внимание на то, как эта речь была произнесена, и на некоторые случайные замечания, чем на существо дела. Возможно, было бы неплохо, если бы Солженицын послушал Одена, который считал, что свободный человек должен владеть искусством восхваления. И я думаю, было бы неплохо, чтобы противники Солженицына вспомнили об Итсе, который говорил, что интеллектуальная ненависть есть наихудшая из всех видов ненависти.

¹ *Вордсворт* (1770 – 1850), английский поэт, представитель раннего романтизма, критиковал французскую революцию, но потом поменял точку зрения.

² *Документы федералистов* – сборник статей по проблемам Американской конституции, написанных в 1787 году Александром Гамильтоном, Джеймсом Мэдисоном и Джоном Джейем. Классический анализ основных элементов республиканского государственного устройства: сочетание воли народа и власти, порядок выборов, баланс между свободой и порядком и его отражение в системе социальных институтов, функции конгресса, администрации и Верховного суда, федерализм как совершенное сочетание прав штатов (местной власти) и централизованной власти.

³ *Эдомонд Берк* (1792 – 1797), английский политический философ, активно выступавший против французской революции, как такого политического усилия, которое направлено на разумное и рациональное преобра-

зование общества. В истории самое важное традиция, которая, по существу, иррациональна и которую человек обязан сохранять и охранять всячески, ибо только лишь в ней человек остается человеком.

⁴ *Самюэль Джонсон* или Доктор Джонсон (1709 – 1784), один из самых уважаемых английских литературных авторитетов, писатель, поэт, критик, составитель одного из первых словарей английского литературного языка.

⁵ *Мэтью Арнольд*, известный английский поэт и прозаик Викторианской эпохи, представитель романтизма.

⁶ *Томас Хальм* (1883 – 1917), английский философ и поэт, автор "Лекций о современной поэзии" и "Размышлений" (1924).

⁷ *Рид Херберт* (1893 – 1968), английский издатель, критик, поэт, директор музея современного искусства в Лондоне.

⁸ *Эпштейн Яков* (1880 – 1959), английский скульптор русско-польского происхождения. Много работал в Америке. Автор книги "Говорит скульптор".

⁹ *Кристофер Леш*, современный американский критик, много печатается в Нью-Йорк Бук Ревью.

¹⁰ *Джордж Сантаяна* (1863 – 1952), американский философ, классик американской философии. Его главная мысль заключалась в следующем: задача философии состоит не в объяснении мира и не в изменении, а в выработке "моральной позиции" по отношению к нему.

¹¹ *Ирвинг Кристоль*, литературный критик и общественный деятель, с 30-х годов до настоящего времени прошел эволюцию от крайне левого до умеренно левого интеллигента. Очень типичная фигура для американской духовной жизни вообще и для нью-йоркской, в частности. Последовательный либерал во всем.

О ЗАПАДНОЙ СВОБОДЕ

В современный век и особенно в относительно спокойное мирное время редко когда голос одного человека побуждает к духовным поискам весь западный мир. То, что сказал Александр Солженицын не только в Гарварде в 1978 году, но и на съезде американских профсоюзов, которые предоставили ему возможность выступить, когда президент Соединенных Штатов, подстрекаемый своим меттернихианским государственным секретарем Генри Киссинджером, отказался принять его, взбудоражило сознание западного мира сильнее, чем проникновенные речи Франклина Рузвельта и Уинстона Черчиля. Все это кажется еще более беспрецедентным, если учесть, что Солженицын обращался к аудитории на своем родном языке и употреблял выражения неясные при переводе. И тем не менее непрекращающиеся разговоры о Гарвардской речи свидетельствуют о силе слов Солженицына и о серьезности его критики наших фундаментальных ценностей, наших страхов и иллюзий, а также определенной философии цивилизации, скрытой за видимым отсутствием какой бы то ни было философии.

Мой ответ будет состоять из четырех частей и заключения, где я сформулирую, в чем, по моему мнению, состоит нравственное значение солженицынской критики западного мира. Это значение велико несмотря на множество ошибок и неточностей, допущенных в анализе сущности свободы и демократии, а также причин упадка Запада.

Во-первых, я рассматриваю общее обвинение, предъявленное Солженицыным Западу. Во-вторых, я проанализирую некоторые его конкретные суждения о критическом положении Запада и опасностях, которыми оно чревато. В-третьих, я займусь его собственной концепцией демократии, в которой нет разделения между правовыми и нравственными проблемами. Я допускаю, что есть известная доля истины в том, что он говорил о переизбытке свободы, понимаемой как отрицание любых ограничений и возможности какого-либо рационального урегулирования. В-четвертых, я рассмотрю ход его рассуждений при анализе наших трудностей и его главное утверждение, что все наши беды происходят от секуляризованного рационалистического гуманизма, согласно которому подлинная человеческая нравственность внутренне связана с последствиями наших действий для жизни человека. Солженицын считает, что такие представления порождают еретические мысли о независимости нравственности от религии и теологии, в частности от принятия тезиса о существовании Бога как "Высшего Совершенного Существа". Здесь открывается не только литературное, но и духовное

родство Солженицына с его великими соотечественниками Достоевским и Толстым.

Наконец, когда солженицынское непонимание Запада станет нам полностью очевидно, я бы хотел сформулировать, что, как мне думается, является самым главным, принципиальным и ценным в его обращении к людям, отстаивающим принципы человеческой свободы в наше время. Основываясь на его собственной интуиции, я заявляю, что все, кто противостоит тоталитаризму в любых формах, в состоянии разработать общую нравственную платформу вне зависимости от религиозных или теологических различий. Таким общим подходом может стать убеждение, что даже в условиях конфликта, в котором сейчас находятся свободные и несвободные общества, существуют другие альтернативы, чем война и поражение. И именно это укрепляет нас в нашей общей ориентации на свободу, в которой отражена не только наша надежда на то, что мы выживем, но и наша надежда на возможность построения общества, достойного людей.

Обвинение, предъявленное Солженицыным Западу

Главным пунктом солженицынского обвинения Запада является провал воодушевляющей его философии свободы, запротоколированной в политических идеалах. Согласно Солженицыну, пространство политической свободы на карте мира уменьшается, и западные идеалы меркнут даже в тех районах мира, которые обрели

свободу с помощью этих идеалов. Успехи человеческой свободы в каких бы то ни было проявлениях или просто отрицаются, или умаляются Солженицыным, когда он, сравнивая существующее положение вещей с высшими нормами, что в принципе следует делать всем нам, легко обнаруживает ее явные недостатки.

Коммунистический мир, продолжает Солженицын, не отвечает подлинной взаимностью ни в области культурного обмена, ни в соблюдении обязательств и договоров. Статьи Хельсинкского соглашения, которое предусматривало соблюдение прав человека странами-участницами, и в котором Запад формально признал суверенитет советской империи, существующей де-факто в Восточной Европе, нарушались Советским Союзом и большинством его сателлитов, несмотря на то, что все они обязались выполнять их. Безобразное обращение с Щаранскими, Гинзбургам, Григоренками, насильственное заключение диссидентов в психиатрические камеры пыток продолжается. Нежелание Советского Союза следовать Белградской конференции по проверке выполнения гуманитарных статей Хельсинкского соглашения не вызвало никакого отпора со стороны Соединенных Штатов.

В государствах так называемого третьего мира, по мнению Солженицына, происходит странная трансформация. Страны, идеалы которых были не только связаны с Американской декларацией независимости, но и основаны на ней, освободившиеся из-под колониальной зависимости, попали под управление однопартийных

диктатур и народы угнетены так же, как до освобождения, или даже более жестоко. Организация Объединенных Наций превратилась в ассоциацию антиамериканских наций, которые скорее стремятся превратить Израиль, жертву систематических террористических кампаний, в государство-парию, чем пытаются остановить практику геноцида, процветающего в аминовской Уганде или Камбодже.

Но главное в обвинении Солженицына касается самой концепции свободы. Он убежден, что Запад настолько одержим самой идеей свободы, что на практике не может различить, к какой свободе и в чем стоит стремиться, а к какой — нет. Запад отстаивает права человека как абсолют, отказываясь понимать, что наши основные свободы не могут быть реализованы в достаточной степени, пока мы не признаем определенных обязанностей. "Широта юридических рамок (особенно американских) поощряет не только свободу личности, но и некоторые преступления ее, дает преступнику возможность остаться безнаказанным или получить незаслуженное снисхождение — при поддержке тысячи общественных защитников. Если власти берутся строго искоренять терроризм, то общественность тут же обвиняет их, что они нарушили гражданские права бандитов."

Многие из формулировок Солженицына неточны или являются преувеличениями, но я думаю, что если переформулировать их, можно все-таки достаточно ясно понять что он имеет в виду на самом деле.

Во-первых, смысл свободы искажается, если она определяется как право индивидуума делать все, что ему нравится. Каждая конкретная свобода, которую мы можем вполне разумно защищать, должна быть свободой желательной или нормативной.

Во-вторых, ни одна из свобод желательных не может быть неограниченной, т. е. она обязательно должна быть квалифицирована, определена; каждое право, моральное или юридическое, несет в себе ограничение или запрет противоположного права. Если вы искренне верите, что люди имеют право говорить, писать, объединяться в группы или поклоняться тому, что подсказывает им совесть, тогда вы должны верить и в то, что ни один человек не имеет права или свободы запретить осуществление этого права, что свобода, имеющая реализации этого права, должна быть ограничена. Если вы верите в лояльность, вы тем самым не можете верить в лояльность активно нелояльных по отношению к другим. В противном случае вы просто не понимаете смысла лояльности или же неискренни в своей поддержке лояльности.

В-третьих, не важно, какой набор прав или свобод желателен, ни одно из них не является абсолютным, потому что в любой моральной ситуации права противоречат друг другу. Солженицын по-своему понимает это. Но философы, например, Дьюи, выразили это более точно. Моральная проблема возникает не при противопоставлении добра и зла или правого и неправого, другому правому. Например, вы не можете

всегда гарантировать человеку справедливый суд, предоставив абсолютную свободу прессе. Или: врать, скажем, так же "неправильно", как убивать, но иногда приходится делать выбор между "сказать правду" или не сказать ее, чтобы "спасти жизнь".

Антиномия правовой и нравственной жизни

Но речи Солженицына оказывают такое сильное впечатление на слушателей не потому, что он открывает им эти истины, а потому, что он приводит очень яркие драматические примеры, неправильного, по его мнению, выбора в конфликтной моральной ситуации. Разберем два таких примера.

Естественно, Солженицын за свободу прессы, ведь он был в заключении, а сейчас находится в ссылке из-за того, что этой свободы нет в Советском Союзе. Однако, он полагает, что "пресса стала первой силой западных государств, превосходя силу исполнительной власти, законодательной и судебной" и требует свободы действий независимо от их последствий для национального благоденствия и национальной безопасности. Он спрашивает: если в демократическом обществе все считаются морально и юридически ответственными, то перед кем ответственна и перед кем отчитывается пресса, если она практически обладает монополией? Солженицын приводит примеры, когда репортеры воруют государственные секреты, публикуют их и оправдывают свои

действия тем, что "публика имеет право знать". А когда начинается следствие по делу о секретных источниках, из которых репортеры черпали свои сведения, пресса, даже если речь идет о человеческой жизни или свободе, втихую отвергает положение о том, что "публика имеет право знать", в соответствии все с тем же принципом свободы прессы. Но в таком случае почему правительство не может требовать, чтобы у него были некоторые секреты от публики, которые она не имеет права знать, по крайней мере, в течение какого-то времени; тем более когда это в интересах сохранения свободного общества, без которого невозможна никакая свобода прессы?

Другой пример. Приехав из страны, в которой, по утверждению советских диссидентов, люди зачастую наказываются только за то, что старались жить по законам, Солженицын ошеломлен тем, что он называет превосходством правосознания над нравственным сознанием в американской юридической системе. Недавно кто-то назвал это явление верховным судебным правом. В стране происходит резкое увеличение преступности и насилия, но находятся люди, которые заботятся не о защите прав реальных и потенциальных жертв, но о защите прав виновных или осужденных за совершение преступления и призывают к созданию юридической теории, которая рассматривала бы преступников как жертв общества и, следовательно, не ответственных за свои дурные поступки. Кроме того, поощряется обращение к чисто технической стороне закона, что увеличивает волокиту в рассмотрении

дел, и страдает в первую очередь лишь само правосудие. Если бы Солженицын отметил бессмысленность положения об особых привилегиях при сборе доказательств, его рассуждения звучали бы убедительнее и у него было бы больше оснований для морального негодования. Но он связывает положение дел в области права с упадком личной, общественной нравственности, с развитием эгоизма и философии "хватай-беги". Что-то не так с нашим обществом, если "центр вашей демократии и культуры на несколько часов остается без электричества — всего-то, — и сразу же целые толпы американских граждан бросаются грабить и насиловать".

Пресса и американская демократия

Теперь давайте займемся более важными вещами. Допустим, что Солженицын прав во многом в своем обвинении Запада (картина и вправду кажется мрачной, когда речь идет о праве и злоупотреблениях в прессе). Но что он предлагает в качестве политической альтернативы или противоядия? Здесь как раз и видна фатальная двусмысленность его концепции демократии, двусмысленность, которую я отношу за счет его основополагающей теологии.

Прежде всего, Солженицын не в состоянии понять, что многие дефекты современной американской юридической системы отнюдь не обусловлены природой демократии как таковой.

В таких демократических странах как Англия и Канада, и даже в менее демократических юрисдикциях, где нет ни малейшего ограничения в отправлении правосудия, суды работают гораздо эффективнее, а закон гораздо реже и не так вопиюще остается в дураках, как во многих штатах и в федеральных учреждениях.

В отношении прессы это еще более очевидно. Взять хотя бы сообщения о ходе следствия (в последнее время участились и сообщения о ходе защиты) и если присовокупить сюда же убеждение, что абсолютной объективности все равно не добьешься, а сама концепция объективности является мифом, то получается, что не существует никого, ни одного мужчины и ни одной женщины, чья репутация была бы защищена от легкомысленных и безответственных неверных газетных интерпретаций. В этом отношении профессиональные стандарты средств массовой информации в Англии выше, чем в Соединенных Штатах, хотя и там им далеко до совершенства. Даже не ссылаясь на английские законы о клевете и Акт о государственных секретах, можно обратиться прямо в Совет по печати, если вы оказались жертвой какой-либо ложной или гнусной газетной истории. Не то в Соединенных Штатах.

Когда "Фонд XX века" по совету нескольких ведущих американских журналистов и учитывая успешный британский

опыт, организовал свой Совет по печати, ведущие американские газеты, такие, как "Нью-Йорк Таймс" и "Вашингтон Пост" отказались сотрудничать с этим советом. Американское общество издателей газет и в самом деле несколько лет тому назад проголосовало 3:1 против образования даже внутреннего комитета для рассмотрения жалоб".

*(Макс Капельман, "Сила прессы",
Полиси Ревью, Осень 1978)*

Лести Маркел, бывший издатель "Нью-Йорк Санди Таймс", несколько лет тому назад писал:

"Пресса, притворяясь, что она уверена в правдоподобности своих сообщений и настаивая на своей почти 100%-ной непогрешимости, не допускает никакого действительного контроля над ней. Пресса усвоила очень простую истину: "где святой, который святее, чем ты", цитируя Поправку №1 и, вдобавок, апеллируя к 10 заповедям и другому менее святому писанию".

("Нью-Йорк Таймс", февраль 2, 1973)

Джон Оакс, заслуженный сотрудник редакционной страницы "Нью-Йорк Таймс", присоединился к критике журналистской безответственности. В дискуссии по статье "Умирающая вера в прессу" он указывает на то, что необходимо

заставить прессу "добровольно стать более ответственной перед публикой и более доступной для публики" (Нью-Йорк Таймс, 24 мая 1978 г.) Чем могущественнее пресса, тем ответственной она должна быть. Иногда она злоупотребляет своей силой, как, например, когда передали, что вьетконговцы одержали победу в новогоднем наступлении (по вьетнамскому календарю), тогда как на самом деле они потерпели поражение. Замысел состоял в том, чтобы способствовать политической победе Вьет-Конга в этой стране, вынудить президента покинуть свой пост и, таким образом, существенно повлиять на конечный результат войны.

Таковы приемы зла, которое приносит с собой демократия. Но, разумеется, противоядием в данном случае будет не "долой демократию", а "усовершенствованная демократия". Есть много путей и средств это сделать, не обращаясь к знаменитой троице Достоевского: тайна, власть, чудеса. Солженицын не может понять доверия к политике, которое присуще самой природе демократии. Воля большинства ни в чем не ущемляется даже в том случае, когда признаются гражданские и человеческие права меньшинств. Большинство непогрешимо. Большинство может быть непросвещенным, но, по выражению Феликса Франкфюртера, "в условиях демократии непросвещенное большинство обращается к просвещенному большинству", и зло исправимо, пока существует политический механизм, позволяющий зарегистрировать свободно выраженное согласие.

Следует спросить Солженицына, готов ли он рискнуть ради сохранения демократии — признать право демократии на ошибки при условии, что у нее будет возможность исправить их. Или же он, как все остальные тоталитаристы от Платона до наших дней, уверен, что большинство людей, членов общества, или слишком глупы или слишком порочны, чтобы можно было доверить им самоуправление. Мне кажется, что Солженицын, несмотря на некоторые его двусмысленные заявления, все-таки стоит на стороне демократии, как и его великий соотечественник Андрей Сахаров.

Существенный аргумент в защиту демократии против тех, кто думает, что знает подлинные интересы людей лучше, чем они сами, таков: тот, кто носит ботинки, лучше всех знает где они жмут, следовательно, именно они имеют право сменить эти ботинки на другие, основываясь на собственном опыте. Точно так же и в области политики. Конечно, дети и умственно отсталые не всегда понимают, когда и где жмут ботинки. Тоталитаристы и их защитники, оправдывая свой "патернализм", который, кстати, держится больше силой и эгоизмом, чем действительной заботой о благе народа, говорят, однако, что, люди постоянно находятся в состоянии детства.

Несостоятельность Запада

Сейчас я подхожу к солженицынскому анализу причин падения мужества на Западе, изначальных

пороков западной демократии, его моральной слабости. Я считаю, что здесь он, как и многие выдающиеся его предшественники и последователи, глубоко, явно, трагически не прав. Солженицын думает, что причиной упадка западной демократии и разложения нравов было возникновение секуляризованного гуманизма и рационализма, которые зародились в период, когда со сцены сходило средневековое синтетическое мировоззрение и формировалось новое научное аналитическое мировоззрение. Проще всего это можно выразить следующим образом: Солженицын утверждает, что основная причина мирового кризиса — это эрозия религии, исчезновение веры в существование Высшей Силы или Сущности; опорой в жизни вместо трансцендентной веры стал человеческий интеллект, который рассматривается как определяющий элемент в природе человека и в его поведении.

Солженицын не прав по многим причинам. Исторически ни из иудаизма, ни из христианства, ни из ислама не вытекает демократия, т. е. такой системы общественного самоуправления, которая зиждется на свободно высказанном согласии управляемых. Ни одна из религий не противостояла ни рабству, ни феодализму, напротив, очень часто они апологетически оправдывали их. Логически из положения о том, что все люди равны перед Богом, не следует, что они равны или должны быть равны перед законом. Вера в святое право королей древнее, чем такое же идиотское представление *vox populi vox Dei* (глас народа — глас Божий). Существование или несуществование

Бога совместимо с любой социальной системой за исключением, пожалуй, ситуации, когда, по определению, моральные атрибуты Бога предполагают демократическую систему.

В своей критике я иду еще дальше. Теология не имеет никакого отношения не только к демократии, но и к капиталистической, равно как и к социалистической социальным системам; она не имеет никакого отношения к существованию нравственности как таковой. Солженицын перекликается с Достоевским, когда он устами Смердякова ("Братья Карамазовы") говорит: "Если Бога нет, то, значит, все дозволено?" Но это не есть логическое следование, т. е. умозаключение не следует логически из посылки. Люди создают себе богов по своему собственному моральному облику. Когда мы заявляем, что выводим моральную заповедь из религиозного откровения, то на самом деле мы можем сделать это только потому, что мы протащили в содержание нашего понятия Божественного наши собственные моральные суждения. По определению, Бог не может вершить зла, но ведь это мы сами на нашу собственную ответственность сделали разделение между добром и злом. Поступки делает морально значимыми не команда свыше или еще откуда-нибудь, но внутренний характер действия и его последствия для жизни человека.

Глубочайшие теологи Запада, начиная с автора первоначального варианта книги Иова и до Августина и Киркегора, утверждали, что религиозный аспект духовного опыта человека трансцендирует его моральный опыт. Проблема зла, как

кость, стоит в горле западной теологии. Вечный вопрос, задающийся опять и опять: почему якобы всемогущее и всеблагое Высшее Существо позволяло во все времена страдать тысячам и тысячам ни в чем не повинных людей? Киркегор в своей книге "Страх и трепет" изображает Авраама, готового по воле Бога принести в жертву своего сына Исаака, не великим нравственным героем, сравнимым с Агамемноном или Брутом Младшим, которые тоже были готовы принести в жертву своих отпрысков, но как вдохновленного самим Богом религиозного человека. Не трудно показать, что киркегоровское прочтение Библии весьма свободно. То, что, в конце концов, Авраам приносит в жертву животное вместо человека свидетельствует о примате нравственности, о зарождении нового нравственного чувства и новой способности суждения — способности нравственного суждения, т. е. такого, за которое и он, и мы, будучи существами человеческими, должны нести ответственность. Другими словами, этот факт свидетельствует, что нравственность — это не благочестивое безоговорочное подчинение команде, исходящей якобы от силы божественной.

Ясно без доказательств, что если все мы, как и Солженицын, хотим объединить человечество ради защиты разумной свободы и ради сохранения свободного общества, то совсем не обязательно для этого иметь согласие от первой до последней буквы в вопросе о Боге, бессмертии или любом другом вопросе трансцендентной догматики. Ведь, на самом деле, подавляющее

большинство человечества не объединено иудео-христианской верой — это индуисты, буддисты, конфуцианцы, синтоисты, натулисты и анимисты. Религия является частным делом, и религиозная свобода означает право верить или не верить в одного бога, многих богов или вообще ни в какого бога или богов. Если мы хотим объединить разные силы в борьбе за свободу или сделать всеобщей эту борьбу, мне кажется, что нужно, во-первых, найти определенный набор этических принципов, которые все будут согласны принять, вне зависимости от разных духовных предпосылок; во-вторых, нужно определить множество человеческих потребностей и прав, обеспечение которых даст возможность людям разных культур если не жить, помогая друг другу, то хотя бы жить и давать возможность жить другим. То, что объединяет Сахарова и Солженицына и нас вместе с ними, т. е. наша любовь к человеческой свободе и желание сохранить свободное общество, более важно, чем то, что нас разъединяет. Солженицын нарушает единство наших рядов в борьбе за свободу, критикуя секуляризованный рационалистический гуманизм.

Великий моральный пророк

Несмотря на все мои расхождения с Солженицыным по вопросам, которые я изложил, а также и по другим вопросам, я считаю его одним из величайших моральных пророков нашего времени. В конце концов, ведь что вызвало в нем

такие сильные приступы отчаяния, такую глубокую неудовлетворенность существующими ценностями и такое разочарование по поводу отсутствия реальных ценностей в западной культуре? Простой факт, который однажды он увидел, а потом указывал на него неоднократно: относительно свободные районы на земном шаре становятся все слабее и слабее под натиском тоталитаризма и архипелага ГУЛаг'а в самых разных формах. И он был поражен в самое сердце тем, что среди некоторых ведущих интеллектуалов Запада, таких как, например, Джордж Кеннан, все более и более укореняется мнение, что "мы не можем применять моральных критериев в политике" и что поскольку противостояние может привести к всеобщему конфликту, в котором те кто выживут, будут завидовать мертвым, то Западу, и в первую очередь Соединенным Штатам, следует "начать одностороннее разоружение".

Но что если врагов свободного общества не вдохновляет идеал христианского смирения? Что если они, трактуя пацифизм и стремление к миру на свой, ленинский манер, т. е. как выражение культурного упадка, лелеют планы захватить оставшиеся острова свободы? Лучше это, чем последствия противостояния, заявляет Джордж Кеннан. Вторя Бертрану Расселу на закате дней его, Кеннан в известном интервью с "Нью-Йорк Таймс" придерживается принципа "Лучше быть красным, чем мертвым". Солженицын думает, что такое настроение распространено повсюду в Западной Европе и других местах.

В моменты кризиса оно становится отчетливо видно и формы его многообразны. Сколько раз я слышал вариации на тему "лучше жить на коленах, чем умереть стоя" или "лучше быть живым шакалом, чем мертвым львом"!

Но в одном случае стратегия принципиально оправданного поражения, предлагаемая Кеннаном и Расселом, может провалиться, хотя Солженицын не упоминает об этом. Мы живем в мире, где две коммунистические сверхдержавы владеют атомным оружием, которым они и угрожают друг другу, а потому вполне возможно, что сначала мы станем красными, а потом все-таки мертвыми! ¹

Насколько я понимаю, Солженицын пытается доказать что-то другое. Он утверждает, что самая большая опасность для нас -- утрата морального духа, утрата силы воли, потеря веры в то, что некоторые вещи морально более важны, чем даже сама жизнь, и что без такой веры "никакое величайшее вооружение не поможет Западу, пока он не преодолеет потерянности своей воли". Где-то в Гарвардской речи он просто сказал: "Для обороны нужна и готовность умереть", и из контекста ясно, что он понимает защиту социальной свободы как нашу первостепенную задачу. В этом есть и глубокая историческая, и психологическая правда. Нищие и голодные орды, готовые на смерть, всегда побеждали тех, кто стремился в первую очередь спасти свое богатство и свою шкуру. (Не так уж редко случалось, что они теряли и то и другое, а вместе с ними и честь.) Не согласившись с Солженицыным, к каким выводам

приходишь? Выживание — есть сама жизнь, конечная цель жизни, высшая ценность. Но если мы готовы принести в жертву все наши фундаментальные ценности просто ради спасения, то не существует ничего бесценного и позорного, чего бы мы не могли совершить ради достижения этой цели. Результатом всегда будет жизнь, в моральном отношении не достойная человека.

Идея, которую Солженицын хочет довести до нашего сознания, состоит в том, что если мы вновь обретем нравственное мужество, если мы будем крепко стоять на позициях свободы, мы можем избежать войны и поражения в ней, грозящих нам в будущем. Мы не должны будем выбирать между "быть красными или мертвыми", при условии, если мы будем готовы при необходимости пойти на смерть ради свободы. Ведь мы имеем дело не с сумасшедшими тоталитаристами, но с ленинистами, которые молятся у алтаря истории, которые верят, что их победа неизбежна и без войны, и которые, в соответствии с принципами своей идеологии никогда не начнут войны, не будучи уверенными в своей победе. Наша задача — иметь достаточно силы, чтобы разрушить эту их уверенность. Почему они должны рисковать и идти на войну, когда они видят, что укрепляются и растут без войны, используя другие нации в качестве миссионеров в локальных военных заварушках?

Не нужно прибегать к политическим аргументам Солженицына, чтобы согласиться с ним, что пока Запад остается достаточно сильным, чтобы помешать победе тоталитаризма, и пока Запад

признает, что одной из составляющих этой силы является готовность рисковать жизнью в деле защиты свободы, третьей мировой войны не будет. Мир на Земле, существующий благодаря тому, что террор уравновешен, будет сохранен, если мы будем стремиться к многостороннему разоружению и надеяться на эволюционные мирные изменения тоталитарных обществ. Мы уже наблюдали, каким образом фашистские страны трансформировались в несовершенные демократии без войны. Так что пока мы бдительны и не капитулируем, как Кеннен и Рассел, возможно, когда-нибудь тоталитарные коммунистические страны и смогут совершить внутреннюю эволюцию к демократии мирным путем.

Я занимаю позицию, отличную от солженицынской по многим вопросам, но мне кажется, он согласился бы с моим ответом всем Кеннанам и Расселам в этом мире: "Лучше быть живым шакалом, чем мертвым львом — для шакалов, но не для людей. Люди, у которых есть нравственное мужество сознательно бороться за свободу и которые готовы умереть за нее, имеют самый высокий шанс избежать судьбы и живых шакалов и мертвых львов. Выживание не есть изначальная и конечная цель той жизни, которая достойна человека. Иногда самой ужасной новостью для человека является не то, что он выжил. Те, кто говорят, что жизнь стоит жизни во что бы это ни стало, сочинили уже для себя позорные эпитафии, ибо нет ничего, что они бы не предали — ни принципа, ни человека — ради того, чтобы остаться в живых. Назначение человека состоит

в том, чтобы использовать все свои интеллектуальные возможности во благо человеческой свободе”.

¹ Стоит отметить, что Бертран Рассел, достигши возраста Сократа, все-таки отдал предпочтение свободе, а не просто выживанию даже после того, как была изобретена водородная бомба. “Как бы ни была ужасна третья мировая война, лично я предпочел бы ее всеобщей коммунистической империи” (“Нью-Йорк Санди Таймс Магазин”, 27 сентября 1953 г.). Следовательно, он был на стороне тех, кто защищает эту позицию.

ВАЖНЕЙШЕЕ В ЗАКОНЕ

Студентам и бывшим выпускникам Гарварда -- а их было 10 тысяч на торжественном заседании, посвященном вручению дипломов в 1978 году, -- Солженицын казался марсианином. Вот он, великий пророк из другого мира. А ведь мы знали его прежде как человека, сумевшего в своих произведениях с потрясающей силой показать ужасы сталинского террора. И это произведения не философа или социолога, но писателя в традиционном русском значении этого слова, т. е. прозаика или поэта, который к тому же и провидец, т. е. видит душу народа. Благодаря своему таланту и пророческой интуиции, Солженицыну удалось поведать миру историю страданий, испытанных им и миллионами его товарищей по несчастью -- заключенных советских трудовых лагерей. И он написал историю ГУЛаг'а так, как написал бы ее именно русский, т. е. так, что перед нами открылась не только трагическая, но и героическая сторона этого социального катаклизма, не только его дьявольская сущность, но и его очищающее значение.

Глубина Солженицына как писателя измеряется его способностью заставить нас вместе с ним пережить все ужасы террора. Его рассказ, озаглавленный "Матренин двор", который вообще не затрагивает тему трудовых лагерей, представляет собой один из величайших литературных шедевров нашего времени. Солженицын был осужден как контрреволюционер за то, что в письме к своему другу в конце войны высказал ряд очень завуалированных замечаний, подрывающих авторитет Сталина. И кажется, что он использовал свое математическое образование для изобретения мнемонической системы для фиксации буквально каждой важной детали своей жизни в лагере. Делать какие-либо черновые заметки было строжайшим образом запрещено, оставалось целиком довериться памяти. И она его не подвела: как живые стояли перед ним его погибшие товарищи, и он поклялся, что не допустит, чтобы их забыли.

Однако книги Солженицына о лагерях рассказывают не только о лагерной жизни людей. Они — о тирании той системы, о том, как эта тирания проявлялась в ее внутренней логике, в структуре ее внутренней рациональности, в ее извращенной законности. Мы обычно считаем лагерь чем-то диаметрально противоположным рациональности и законности, воплощением произвола. Но Солженицын показывает нам, что произвол системы выражался сверх всего прочего в ее законности. Все вершилось именем закона, согласно такой-то и такой-то статье Кодекса, инструкции министерства, распоряжения начальника или директора, в

соответствии с правилами лагерной жизни, которым нужно было подчиняться.

Солженицын, например, так описывает систему жалоб. По закону каждый заключенный имел право обратиться в вышестоящую организацию, если его права нарушались. Все эти жалобы полагалось рассматривать и принимать соответствующие меры. Но чтобы написать жалобу, заключенному нужны карандаш и бумага. У него их нет, и он просит, чтобы ему их дали. В конце концов, ему могут дать карандаш, который почти не пишет, и бумагу, на которой вообще нельзя писать по причине ее плохого качества. Но в результате неимоверных усилий заключенный все-таки ухитряется произвести на свет что-то вроде жалобы. Он отдает ее следователю или охраннику. А те, вероятнее всего, или просто выбросят ее, или отфутболят кому-то. Вполне возможно, что жалоба может просто исчезнуть среди томов дел, потонуть в других бумагах. Ответа так и не будет. А меж тем, формально, закон соблюден, но совершенно превратным образом.

С точки зрения Солженицына, в Советском Союзе бюрократическая порочность сочеталась с наукой и планированием, которым уделялось очень большое внимание, но которые на практике извращались до неузнаваемости. Своей научной рациональностью и законностью система "душит личность", как это он выразил в своей Гарвардской речи. Единственный способ преодолеть тиранию рациональности и законности— это умереть ради себя самого, бросить все, отказаться даже от желания хотеть чего-то. Один из заключенных

говорит лагерному надзирателю: "Можешь сколько угодно рассказывать сказки о том, кто тут хозяин. Ты имеешь власть над людьми, пока ты не обобрал их. Но когда ты содрал с человека все, что можно, он уже не в твоей власти. Он опять свободен." Т. е. Солженицын, по словам Джеймса Лютера Адамса, "думает, что жестокость и дегуманизация, царившие в трудовых лагерях, явились следствием определенного типа рациональности, которая нацелена только на одно и ни на что больше". И все-таки он верит в возможности человеческого духа, в то, что он в состоянии сразить даже эту демоническую силу.

Въезденный из страны, Солженицын продолжает публиковать новые тома "Архипелага ГУЛАГа" и помогать жертвам советских репрессий. Одновременно он борется за новую Россию, которая возродит старую, христианскую Россию. Руководство новой России может быть даже коммунистическим, но главное, что люди получают возможность исповедовать свою русскую православную веру без какого-либо вмешательства со стороны этого руководства, а потому они будут объединены очень сильным чувством духовной общности в сочетании с всеобщим подъемом и осознанием национального миссионизма.

Хотя Солженицын прожил в Америке уже несколько лет, Гарвардская речь — это первое серьезное и достаточно полное выражение его основных идей. Мы с нетерпением ждали, что он скажет. Многие думали, что он начнет восхвалять Америку, воспевать ее могущество и добродетели, которых и в помине нет у советской ситемы,

и более всего прочего нашу свободу и наш закон. Можно себе представить, как мы были обескуражены, когда он вместо этого напал на то, что мы больше всего лелеем. Он осудил наши свободы, те самые свободы, которые мы противопоставляем жестокости сталинского режима, те самые гуманизм, терпимость, плюрализм, которые спасают нас от дегуманизации. Все наши преимущества и добродетели, оказывается, и являются глубинной причиной нашего упадка, нашего материализма, нашей преступности, нашей поверхностности, нашего духовного истощения, утраты нашего общественного мужества, распада нашего руководства. И представьте наше удивление, когда он стал убеждать нас в ценности жертвы, самодисциплины, коллективной воли, подчинения властям, общей веры — во всем том, что мы в Америке привыкли связывать с коммунистической системой.

10 тысяч человек выразили свое одобрение и аплодировали ему, но придя домой и задумавшись, многие изменили свое отношение. Вскоре в прессе стали появляться письма, в которых сама речь осуждалась, а Солженицын назывался лжепророком. Да и прессе не понравилось то, что Солженицын сказал о ней: мол, безответственна, продажна и даже опасна. Юристы не были в восторге от того, что наши законы были названы холодными, безликими, и, вдобавок, порождающими конформизм и коррупцию. Молодежь и те, кто еще недавно были молодыми, были шокированы утверждением, что утрата гражданского мужества вынудила нас прекратить войну

во Вьетнаме. Святые отцы -- но не профессора -- просто растаяли, когда услышали призыв вернуться к вере в Верховное Существо.

Редакционная статья в "Нью-Йорк Таймс" назвала Солженицына "одержимой личностью с комплексом мессианства". Ведущий журналист газеты Джеймс Рестон, обычно такой сдержанный процитировал Солженицына: "Несомненный факт -- расслабление человеческих характеров на Западе и укрепление их на Востоке..." (благодаря духовному опыту, приобретенному в страдании) и ответил: "И это сказано человеком, который сумел выразить не поддающиеся никакому описанию пытки в советских тюрьмах и психиатрических больницах? Это тоже несомненный факт. Черт возьми, таки-несомненный!" Похоже, что Солженицын дотронулся до обнаженного нерва.

О том, как Запад упал духом

Если изучить речь Солженицына внимательно, то станет ясно, что она представляет собой более сложное и трудное для понимания произведение, чем обычно думают. Духовное истощение Запада, падение мужества, разложение -- это только одна из ее важнейших тем. И далеко не простая.

Она включает в себя четыре главных вопроса. Первый -- это то, что современные западные государства были основаны на принципе стремления к счастью. Здесь Солженицын, конечно же,

цитирует Американскую Декларацию Независимости. Однако он ошибочно отождествляет понятие счастья в этом документе со стремлением обладать все большими материальными благами. Конкретизируя свое понимание счастья, он пишет, что, во-первых, обладание все большими и большими материальными благами на самом деле не приносит счастья; во-вторых, — и это более важно — такое желание препятствует свободному духовному развитию, в частности, оно вступает в конфликт с готовностью человека рисковать своей "драгоценной жизнью" ради защиты общих интересов. В обществе, где правит культ материального благосостояния, готовность умереть при защите родины очень редкое явление, — говорит Солженицын.

Возможно, кому-то покажется, что я придираюсь, если скажу, что Солженицын спутал понятие счастья, бытовавшее в XVIII веке, с бытующим у нас сейчас, в XX веке, и не разобрался, что стремление к счастью для составителей Декларации Независимости на самом деле было секуляризованной формой благославления и спасения, т. е. тем, что вдохновляло их в стремлении к лучшей жизни. Однако нельзя не признать, что со временем, в XX веке, стремление к материальному благосостоянию стало означать нечто иное. В XIX веке в Америке это означало работу в исключительно тяжелых условиях, настоящую борьбу за существование, за достижение более или менее приличных условий жизни, которые позволяли бы освободить время и энергию для образования и решения социальных проблем.

Солженицын не сообразил, что стремление к материальному благополучию может приобрести духовную ценность в ситуации нужды, чего принципиально не может быть в ситуации изобилия. Ошибочность взгляда, что стремление к счастью и готовность рисковать жизнью взаимоисключаемы, демонстрируются на примере тех же самых составителей Декларации Независимости, которые ради жизни, свободы и стремления к счастью были готовы поступиться и своей жизнью, и богатством, и "святой честью".

Второй важный вопрос — это связь стремления к материальным благам с законностью. Солженицын утверждает, что в западном обществе "границы прав человека и справедливости определены системой законов". Юридическое решение считается "высшим решением": "если доказано на основании закона, что человек прав, ничего больше не требуется". Отсюда Солженицын делает вывод: эгоистичность западного человека идет рука об руку с его почитанием закона. Ниже я вернусь еще к понятиям закона и законности.

Третий важный вопрос — более широкая смысловая реальность, то, что Солженицын называет "рационалистическим гуманизмом" или "антропоцентризмом" и что покрывает и западную эгоистичность, и западную ориентацию на закон. По мнению Солженицына, рационалистический гуманизм, т. е. обожествление человека и его материальных потребностей, который способствовал во времена Возрождения и Просвещения подъему и укреплению Запада, теперь является причиной его надвигающегося упадка.

Здесь Солженицын делает серьезную фактическую ошибку, очень частую на Западе у непрофессиональных историков. Он противопоставляет материализм современного западного человека, который царствует в сознании со времен Возрождения, духовности средневекового западного человека. Он считает также, что в средние века духовность превалировала над физической природой человека, а ощущение внутренней греховности и слабости превалировало над ощущением собственной силы и желания самоутверждения. Идеология средневековья пошла на убыль из-за деспотического подавления физической природы человека.

Однако на самом деле известно, что позднее средневековье -- период с конца XI и до XV века, было временем очень самоуверенных, энергичных и экспансионистски настроенных людей. Это было время необычайно быстрого роста искусства и архитектуры, развития литературы и науки, сельского хозяйства и промышленности. Были основаны тысячи городов. Были построены великие католические соборы. Были созданы очень сложные законодательные системы как церковного, так и светского права.

Более того, солженицынская идея того, что именно в период зарождения "рационалистического гуманизма", т.е., начиная с Возрождения, стало отрицаться наличие в человеке внутренне присущего ему зла, тоже неправильна. Ибо, именно в то же самое время зарождался протестантизм, который особенно подчеркивал изначальную греховность человека. И уж, конечно,

создатели Конституции Соединенных Штатов, хотя они и были людьми Просвещения, тем не менее были убеждены в существовании изначального зла в человеческой природе. Потому-то они и создали систему управления, основанную на подотчетности и равновесии, т. е. призванную ограничить присущие людям алчность и властолюбие.

Четвертый важный вопрос — нечто иное, чем первые три, даже противоречит им. Двести лет назад, у истоков американской демократии, говорит Солженицын, "все права признавались за личностью лишь как за Божьим творением". Иными словами, свобода обуславливалась религиозной ответственностью. Еще 50 лет назад свобода понималась в контексте "морального наследства христианских веков с большими запасами то милости, то жертвы". Но сейчас повсюду — и на Востоке, и на Западе господствует гуманизм, лишенный духовности и религиозности. Мы утратили веру в "Высшее Совершенное Существо", которое когда-то ограничивало наши страсти и безответственность. Мы слишком понадеялись на политические и социальные реформы — в результате обнаружили, что мы лишились нашей духовной жизни: на Востоке — стараниями коммунистической партии, на Западе — из-за победы коммерческих интересов. И это настоящий кризис.

Солженицын начал свою речь с раскола мира. Потом он говорил о множестве цивилизаций: Запад, Китай, Индия, исламский мир, Африка, Россия. Ближе к концу раскол мира кажется ему не таким уж страшным явлением по сравнению с

заболеваем, охватившим большую часть земного шара. И, наконец, в финале внимание Солженицына смещается вообще и с темы "истощенного Запада" (кстати, так была озаглавлена речь в "Гарвард Мэгазин"), и с темы "расколотого мира" (такое название речи было дано в более позднем книжном издании); вместо этого пророчески звучащая тема катастрофического духовного состояния всего человечества — Востока и Запада, Севера и Юга: человечеству угрожает духовное удушье и дегуманизация.

В таком трудном положении, по Солженицыну, первой необходимостью является добровольное, вдохновенное самоограничение. Только оно поможет человечеству возвыситься над пленившим его материализмом. Надо отметить, что сейчас, в своей Гарвардской речи, Солженицын придает такое важное значение самоограничению в поднятии духовного уровня человечества, какое он в своей Нобелевской речи придавал искусству, поэзии и красоте. Тогда он выступал за предоставление свободы искусству и литературе, цитировал Достоевского, который говорил устами князя Мышкина: "Мир красотой спасется". Однако никакого противоречия между двумя этими утверждениями нет. Критика злоупотреблений и крайностей свободы вполне совместима с верой в свободу. Это как раз то, что многие критики Солженицына упустили из виду. Для Солженицына свобода — это прежде всего моральная и духовная свобода; юридические свободы и юридические права, с его точки зрения, являются, в лучшем случае, только лишь средством

для достижения цели. Позже я вернусь еще к этому.

Итак, Гарвардская речь заканчивается пророчеством, что "мир подошел сейчас к повороту истории, по значению равному повороту от средних веков к Возрождению -- и потребует от нас ... подъема на новую высоту обзора, на новый уровень жизни, где не будет, как в Средние века, предана проклятию наша физическая природа, но и тем более не будет, как в Новое время, растоптана наша духовная." Следующая антропологическая ступень достигнута. "И ни у кого на Земле не осталось другого выхода, как -- вверх."

Два взгляда на закон

Обнаружить парадоксы в солженицынской речи и вскрыть ее самопротиворечивый характер можно лучше всего на примере его концепции закона. Необходимо проследить развитие этой концепции от ее истоков в русском православии до русской и советской действительности, и сравнить ее с той, которая воплощена в западном христианстве и традиционно бытует в западной юридической практике.

Редко когда докладчик, выступающий на торжественном собрании при вручении дипломов в Гарварде, не говорит об Американской конституции, о нашей юридической системе, или, по крайней мере, не отдаст должное нашему Верховному Суду. Конечно, можно различать великие конституционные принципы и их действительное

применение на практике. Можно критиковать Верховный Суд за отход от этих принципов, которые раньше были гораздо более действенны. Можно призывать к изменениям в конкретных законах. Но обрушиваться на закон как таковой, как ценность, как норму, как основу нашего единства — это просто неслыханная вещь! И все же это именно то, что делает Солженицын. Не удивительна поэтому реакция наших ”лидеров мнения”. Некоторые дошли до того, что усмотрели в речи защиту тоталитаризма. Но это, конечно, ошибочная интерпретация. Когда Солженицын критиковал действительно существующую в прессе погоню за сенсациями и безответственность, он, разумеется, не имел в виду, что хорошо бы ввести цензуру или какой-нибудь контроль в законном порядке. Он очень мало верит в возможности любого законодательно введенного контроля. Скорее он призывал опять-таки к самоограничению. Между Солженицыным и его критиками разница более высокого порядка, более тонкая и неуловимая, чем большинство этих самых критиков думает.

Солженицын обвиняет Запад и особенно Соединенные Штаты в приписывании закону моральной ценности, каковой он по природе своей не обладает. Он не отрицает, а наоборот, утверждает необходимость существования законного порядка для защиты общества от произвола и насилия. ”Всю свою жизнь проведя под коммунизмом, я скажу: ужасно то общество, в котором вовсе нет беспристрастных юридических весов. Но общество, в котором нет других весов, кроме

юридических, тоже мало достойно человека”. Иными словами, по мнению Солженицына, закон стоит на более низком уровне в структуре моральной и общественной жизни, и Запад слишком переоценивает его значение. Отсюда следует, что Запад не может быть приемлемой моделью для ”нас”, т. е. для русских.

Солженицынская критика нравственной сущности закона или закона как воплощения моральных ценностей представляет собой разновидность антиномианизма, глубоко укорененного в русской истории и культуре. В традиционном русском православии закон резко противопоставлен милости, вере, любви. Закон мыслится как что-то жесткое, холодное, безликое, формальное, исключительно ”умственное”. Он ассоциируется только с виной и наказанием. Антиномианизм не делает различия между ”легализмом”, т. е. механическим применением закона, ориентацией на соблюдение технических тонкостей в законе, и творческой ”законностью”, служащей определенной цели, исходящей из сущности самой справедливости. И действительно, в русском языке нет даже слов, четко фиксирующих это различие. Одни и те же слова должны быть использованы, чтобы выразить значение ”легализм” и ”законность”, ”легальный” и ”законный” почти синонимы. Когда Солженицын говорит о законе, он говорит только о букве закона, которая смертоносна, и никогда о духе закона, который приносит жизнь.

Важным элементом русской духовной и культурной традиции являются неформальные

стихийные отношения между людьми, которые складываются в различных группах, некая общность или то, что в русском православии называется соборностью, миром, общим духом. До второй половины XIX века этот дух соборности в очень сильной степени обуславливал неприязнь к формальному отправлению правосудия и вообще к любым юридическим отношениям как таковым. Русская церковь всегда обвиняла западное христианство в легализме. Иван Киреевский, славянофил XIX века, презрительно писал: "На Западе братья заключают контракты с братьями". А в России, напротив, не должно быть никакой надобности в контрактах, поскольку все люди должны быть братья. Точно так же Великий Инквизитор Достоевского может допустить существование социальных институтов в качестве "поправки" того, что сделано Иисусом, ибо они неизбежно приносят личность в жертву обществу, неповторимое — исчисляемому (статистическому). Они по природе своей противоположны подлинной христианской вере. Солженицын следует Достоевскому, когда он рассуждает о духовной жизни уникальной личности и уничижающих общих правилах, существующих для большинства. "Когда вся жизнь пронизана отношениями юридическими, создается атмосфера душевной посредственности, омертвляющей лучшие взлеты человека".

Пожалуй Солженицына можно понять и оправдать, когда он предостерегает нас от излишнего доверия к закону, слишком сильного возвеличивания нашей юридической системы, нашей

обожаемой Конституции как безусловной ценности, как цели, осуществленной в себе самой, как высшей нормы нашей коллективной жизни. И в самом деле это похоже на идолопоклонство — боготворить сделанное человеком, прославлять нечто ради него самого. Наше уважение закона оправдано, только если закон рассматривается в связи с чем-то высшим, более ценным, чем он сам по себе.

Возможно, Солженицына можно также оправдать, когда он говорит, что на Западе личная нравственность очень часто опирается на юридические нормы. Но он приводит не очень удачные примеры. Один — нефтяные компании, которые покупают изобретения по новым видам энергии и тем самым перекрывают их использование. Солженицын говорит о них, чтобы проиллюстрировать свое утверждение: "Добровольного самоограничения почти не встретишь: все стремятся к экспансии, доколе уж хрустят юридические рамки". Другой пример — производители продуктов, начиненных химическими веществами, по сути дела ядами, для большей сохранности... "публике остается свобода не покупать их". Эти два примера показывают, что некоторые поступки, осуществляемые в полном соответствии с законом, могут тем не менее быть аморальными (хотя слово "яды" говорит о том, что производитель продуктов в данном случае поступил аморально и незаконно). Но это не примеры легализма. Напротив, описанные факты указывают на необходимость введения еще большего юридического контроля над частным производством. В Англии, скажем,

закон дает правительству право отдавать неиспользованный патент тому, кто хочет и может его использовать.

Другие примеры так называемого легализма были даны Солженицыным в письме к студентам — организаторам конференции по вопросам права и религии. Первый: человек соврал, заявив, что ему серьезно повредили спину, в то время как машина, в которой он ехал, была только легко задета другой машиной. Второй: человек подал в суд на спасшего его прохожего, обвиняя его в том, что он-то и явился причиной опасности, грозившей ему. Эти примеры демонстрируют глубокое непонимание Солженицыным юридических норм и различия между личной и общественной нравственностью. Обществу необходимо иметь систему страховки для защиты против урона, нанесенного в результате того или иного повреждение. Но такая система вполне может быть объектом злоупотреблений со стороны несознательных людей. Человек, который предъявляет ложное требование в страховую компанию о возмещении ущерба, совершает как аморальный, так и незаконный поступок. Если Солженицын считает, что в Соединенных Штатах есть много людей, которые оправдают все, что угодно, лишь бы можно было ускользнуть от ответственности, то это свидетельствует против наших моральных норм, но не против нашей юридической системы и нашей убежденности в ее силе.

Несомненно, есть более удачные примеры утверждения Солженицына, что мы отождествили наши моральные стандарты с юридическими

нормами. Мы вполне можем сказать, что нет ничего неправильного в том, что наниматель, который может платить своим рабочим больше, платит минимум, хотя этого и не хватает на жизнь — действия нанимателя находятся целиком в границах закона. Или: многие люди скажут, что поступают абсолютно нравственно, не платя просроченного долга. Здесь мы опять смешиваем законность и нравственность.

Маловероятно, что даже такие примеры, как вышеприведенные, действительно показывают американцев людьми, слишком полагающимися на закон и ставящими знак равенства между законным, и верным с точки зрения закона; нравственным — и верным с точки зрения нравственности. На самом деле, похоже, что американцы очень цинично относятся к закону, все менее верят в закон вообще, стараются нарушить его в любом удобном случае, т. е. когда это удастся сделать безнаказанно. Судья Филадельфийского суда Луиз Форер писал, что мы все: богатые и бедные, старые и молодые, мужчины и женщины, белые и черные — вся нация глумится и издевается над законом. Если это верно, то нам необходимо услышать от кого-нибудь, что мы недооцениваем закон, а не то, что мы его переоцениваем. Нам нужно восстановить смысл исторической укорененности закона в нашей моральной и религиозной традиции. Это как раз суть четвертого основного вопроса Солженицына. Такое обновление закона поможет нам усовершенствовать нашу юридическую систему для достижения большей гуманности, большей социальной справедливости,

не превращая закон в объект идолопоклонства.

Необходимость примирения закона

Вполне вероятно, что Солженицын обращался в первую очередь не к нам, а к своему народу. Он сказал, что Запад, каким он является сейчас, не годится в качестве образца для его страны: "Нет, ваше общество я не мог бы порекомендовать как идеал для преобразования нашего... невозможно оставаться в такой бездне беззакония, как у нас, но и ничтожно ему оставаться на такой бездушечной юридической гладкости, как у вас. Душа человека, исстрадавшаяся под десятилетиями насилия, тянется к чему-то более высокому, более теплomu, более чистому, чем может предложить нам сегодняшнее массовое существование."

Конечно, не время и не место было вообще хоть как-то упоминать о будущем "своего" народа. По какому бы случаю это ни было сказано, все равно странно, что при этом начисто отсутствовал хоть какой-то намек на возможности улучшения юридической системы. Конечно, Советскому Союзу нужно не просто внедрить "объективные юридические веса" или преодолеть "пропасть беззакония". Фактически Советский Союз, несмотря на преследования диссидентов, значительно продвинулся по пути установления некоторого объективного и всеобщего юридического

порядка. Террора больше нет. Людей больше не судят голословно как "врагов народа", не осуждают без суда и сам суд не используется в качестве угрозы. Существенно расширились области, в которых разрешена критика политических руководителей. Страна стала открытой, появились возможности более широких контактов с иностранцами. Солженицын, вобщем-то, не прав, полагая, что в Советском Союзе все еще нет законности и объективных юридических весов.

И тем не менее очень много неправильного в советской юридической системе. Беспощадное юридически санкционированное подавление свободы и колоссальная, тоже юридически санкционированная, несправедливость все еще процветают. Более того, все еще существуют извращения законности, хотя и в гораздо меньшей степени. А за рамками закона — чудовищный эгоизм, произвол, коррупция. Советскому Союзу, как и любой другой стране, необходимо сейчас не только возрождение религиозного духа, т. е. щедрости, желания бескорыстного служения общему делу, жертвенности, сознания высшего предназначения человека, к чему и призывает Солженицын, но и такая политическая, экономическая и социальная организация и такие правовые институты, в которых дух этот может зародиться и процветать.

Здесь уместно вспомнить Иисусову критику "законников". "Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что даете десятину с мяты, аниса и тмина, и оставили важнейшее в законе: суд, милость и веру; сие надлежит делать и того не оставлять" (Матвей, 23, 23). Очень часто на

последнее предложение в этом отрывке не обращают внимания. А в нем подчеркивается, во-первых, что сутью закона является "суд, милость и вера", и во-вторых, что менее значительные вопросы, технические детали, пошлины, "мята, анис и тмин", также важны, но должны быть подчинены основной цели и сути закона.

Отношения между законом, с одной стороны, и справедливостью и любовью, с другой, -- не есть отношения антагонические и не должны быть таковыми. В действительности закон есть способ существования справедливости и любви в социальной ситуации, в которую вовлечено большое число людей. Человек, видящий раненого, лежащего на улице, должен руководствоваться любовью к ближнему и помочь ему. Закон о предоставлении медицинской помощи и возмещения убытков пострадавшему есть способ обобщения этого чувства товарищества, духа взаимопомощи. Разумеется, когда действует общество, а не отдельный человек, элемент страстей, героизма, жертвенности до некоторой степени редуцируется, но ни в коем случае не исчезает совсем. Слишком резкое противопоставление индивидуального наносит вред и тому и другому.

Конечно, не только американцам, но и русским полезно услышать, что американский образ жизни не может служить "моделью" для их будущего. Но что социалистическая система, существующая в СССР потеряла свою привлекательность даже в глазах самых угнетенных народов на земном шаре, полезно услышать советским руководителям в первую очередь. Вообще

хорошо, когда люди понимают, что время для подражания давно прошло и что теперь каждая страна и каждая культура должны выработать для себя свой собственный образ будущего. А лелеять мечту русских славянофилов о Восточном Христианском Царстве, где господствуют соборность и духовность и нет западного "легализма" и "договорности", — это чистейший анахронизм.

Те характеристики, которые Солженицын приписывает исключительно западному средневековому человеку, — утонченная духовность, вера в потусторонний мир — были присущи вообще христианам первых пяти веков как на Востоке, так и на Западе. Тогда монашеская жизнь была единственной возможностью избежать ужасов мира, который, казалось, пребывал в вечном разложении. Восточное христианство в значительной степени сохранило эти черты. По крайней мере, это становится очевидным, если сравнить его с западным христианством, которое со времен Григорианских нововведений в конце XI века стало подчеркивать особую миссию церкви в деле преобразования мира с помощью веры, так и посредством создания соответствующего социального строя и соответствующих социальных институтов. Таким образом, Запад и другие части мира, испытавшие его влияние, живут вторую тысячу лет жизнью, в которой юридические, социальные и институциональные ценности приобрели доминирующее значение.

И Восток, и Запад безмерно страдали от дуализма, от деления ценностей на вечные и временные — милость и закон, дух и материя, страсть

и разум, стихийное и запланированное, святое и справедливое. Сегодня мы понимаем, что критиковать одно ради другого, например преуменьшать значение страсти и, следовательно, преувеличивать значение разума, значит разрушать полноту и личности, и общества. Нам нужно сейчас не отрицать положительные ценности Запада или Востока, но найти их новые синтезы. В самом деле, не только Восток и Запад в традиционном смысле, но и все другие культуры на земном шаре должны черпать что-то друг у друга, если предполагается, что человечество должно подняться на новую ступень в своем развитии, к чему всех нас и призывает Солженицын.

Ричард Пайнс

В РУССКОЙ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ТРАДИЦИИ

У всех тех, кто, как и я, слушали Солженицына во дворе Гарварда в тот июньский дождливый день, сложилось впечатление, что перед ними разворачивалась погромная критика современного Запада: мол, он утратил мужество, потекает всем своим слабостям и вообще занимается чистейшим самообманом. Будто докладчик, спасшийся из ада, выговаривал нам, обитателям чистилища, за то, что мы не живем в раю.

Однако, если вдуматься в слова этого Обращения, то становится понятно, что его главные идеи надо рассматривать в более абстрактном историко-философском плане. Хаотичная по структуре (должно быть, писалась урывками) речь чуть ли только не к самому концу добирается до своей кульминационной точки. И как раз там, где читатель ожидает обобщений и заключений, Солженицын выражает свою заветную мысль — о глубинных причинах того, что он называет недугом,

охватившим весь мир — как Восток, так и Запад.

Основные положения Солженицына можно охарактеризовать следующим образом (более схематично, чем он сам это делает, но ведь многое он оставляет недоговоренным).

Человек по природе своей существо порочное, "носитель внутреннего зла" (все цитаты из речи даны в моем собственном переводе). Сначала возникновение гуманизма, а потом Просвещения вынудило западное общество отказаться от этой истины и заменить ее ложным и пагубным представлением о человеческом совершенстве. В результате мы имеем культуру, в центре которой стоит человек как существо самодостаточное (автономное), всецело служащее "культу земного благополучия", со всеми вытекающими отсюда последствиями, включая безграничное потворство своим слабостям, потакание всем желаниям, прощение всех грехов. Это "гуманистическое автономное безрелигиозное сознание" проникло в Россию вместе с социализмом, произведя на свет Божий коммунизм. (Хотя Солженицын ничего кроме презрения по поводу теории конвергенции западного и восточного обществ не высказывает, он твердо верит в их духовную близость и обвиняет Запад за русский коммунизм). Культура гуманизма ввергла Запад в состояние постоянной неудовлетворенности, а Восток привела к тирании и геноциду. Общим для западной и восточной культур является их отрицание зла, внутренне присущего человеку. И хотя получилось так, что на Востоке это проявляется в более ужасных

формах, тем не менее, противопоставив эти две системы, зажатые в смертельной схватке, понимаешь, что выбирать, в сущности, не из чего. Вероятность победы Востока больше, потому что восточные руководители более одержимы и менее щепетильны. Запад приговорен. Ну, а если заглянуть в более отдаленное будущее, то — при условии, если человечество выживет в надвигающейся катастрофе (возможна и не атомная война) — там возникнет более совершенная цивилизация, которая отдаст должное как духовным, так и физическим потребностям человека, т. е. достигнет как бы синтеза Средних веков и Современности.

Всем, кто знаком с историей русской мысли и литературы, кристально ясна общая линия рассуждения Солженицына. И действительно, как мы еще раз отметим, местами Солженицын употребляет в сущности тот же язык, что и его предвосхитители в XIX веке. Этот факт говорит об очень стойкой, уникальной преемственности в русской интеллектуальной истории, особенно в ее консервативном направлении, к которому Солженицын, вне всякого сомнения, и принадлежит. Кажется, что каждое поколение русских открывает заново те же истины. Это происходит отчасти потому, что их воображение захвачено идеями ортодоксального христианства, и отчасти потому, что проблемы, с которыми сталкивается каждое поколение, остаются поразительно неизменными из года в год на протяжении десятилетий.

Главный солженицынский постулат об изначальной извращенности человеческой природы и, как следствие, тщетности каких-либо попыток манипулирования с его социальным и политическим окружением является аксиомой для всех русских консерваторов. Двести лет назад, во время правления Екатерины II, то же самое вызвало раскол между консерватором Новиковым и первым русским радикалом Радищевым. При Александре I Карамзин выразил резкий протест против реформ Сперанского, апеллируя все к тому же аргументу: "Важны не формы, а человек". Позднее, в XIX веке, на заявление тургеневского героя нигилиста Базарова ("Отцы и дети"), что "в хорошо организованном обществе не важно будет, какой есть человек, глупый или умный, плохой или хороший", консерватор Достоевский ответил: "Главное это любить других как самого себя,— это главное, и это все, и ничего больше не надо. Как только мы поймем это, все остальное уладится." В канун Первой мировой войны сборник "Вехи" потряс русское общественное мнение. В нем заявлялось, что интеллектуальное и нравственное совершенствование человека должно предшествовать политическим и социальным реформам. Позиция мыслителя в вопросе — должно ли совершенствование человека предшествовать социальным реформам или, наоборот, социальные реформы — усовершенствованию человека, определяет его место в русской интеллектуальной традиции.

Как уже замечали обозреватели, солженицынский консерватизм по характеру является

славянофильским. Действительно есть много параллелей между его критикой Запада и философией истории славянофилов, согласно которой гибель Запада неизбежна. Но и расхождения не менее разительны. У истоков своего развития, в том виде, в каком оно распространилось в 1840-50-х годах, славянофильство содержало в себе ярко выраженные черты либерализма. Достаточно сказать, что его приверженцы восхищались Англией и поддерживали великие реформы Александра II, включая реформу судебной системы, разработанную по западному образцу. Они также отстаивали неограниченную свободу слова, которая так раздражает Солженицына. Эти люди были прямо-таки помешаны на *Schwärmerei* (фантазии, грезы), характерных для эпохи романтизма, собирали народные песни и рядились в народные костюмы XVII века.

Солженицын принадлежит к другому поколению славянофилов, к поколению 70-х годов XIX века. Славянофильство этого рода представляет собой реакцию на возникновение в России революционного радикализма, его пафос — в "антибесовщине". Выдающимся представителем этой разновидности консервативного национализма были Достоевский и его друг Константин Победоносцев, *éminence grise* (серый кардинал) поздней имперской России. Мне кажется, вот они-то и есть прямые интеллектуальные предшественники Солженицына. Чтобы убедиться в их близости, достаточно взять в руки работу Победоносцева "Размышления о русском государственном муже" (1869). И по стилю и по ходу рассуждений

Гарвардская речь Солженицына настолько напоминает эту работу, что ее целые законченные отрывки могут спокойно быть включены в текст Победоносцева лишь с небольшими изменениями.

Центральной темой великих романов Достоевского является демонстрация того, как следование основному принципу гуманистического рационализма (Солженицын формулирует его как "независимость человека от какой бы то ни было высшей силы") неумолимо ведет к преступлению. Нравственность, лишенная религиозного основания, привела Раскольникова к убийству старухи-ростовщицы; молодого Верховенского — спровоцированию убийства отца. Для Достоевского социализм и коммунизм были естественным и неизбежным порождением либерализма, в точности так же, как и для Солженицына. Это чистый Достоевский, когда Солженицын говорит нам, что "гуманизм, который полностью утратил свое христианское наследие", не может выдержать атаки рационализма и кончает коммунизмом, т. е. системой, которая для него означает убийство в массовых масштабах.

Сходство между Солженицыным и его предшественниками времен правления архиконсервативного Александра III становится ясным, если сравнить его высказывания о западном законе и прессе с соответствующими высказываниями из книги Победоносцева.

Вновь и вновь Солженицын возвращается к критике западной законности как пустого бесчеловечного формализма, системы, позволяющей

преступнику оставаться на свободе, препятствующей тому, чтобы жертвы преступности получали возмещение и способствующей постоянному обогащению адвокатов. "Западные законы так сложны,— жалуется Солженицын,— что простой человек беспомощен действовать в них без специалиста". Победоносцев (который, по случайному совпадению, был замечательный юрист) мог бы прекрасно согласиться с ним: "Простой человек не может знать закон или отстаивать свои права... Он оказывается в лапах у юристов, в когтях присяжной механики машины правосудия". Подобно Солженицыну, Победоносцев с жаром набрасывается на западную юридическую систему за то, что там все сосредоточено на "технической" стороне закона. И все это происходит за счет "правосудия".

Солженицын не скупится на ядовитые замечания в отношении западной прессы за ее высокомерие, поверхностность, цензуру немодных, неходких мыслей. Он гневно вопрошает: "Какая у журнала или газеты ответственность перед читающей публикой или перед историей?... По какому избирательному закону она избрана...?" А у Победоносцева так: "Кто они такие, представители этой страшной силы, общественного мнения? Откуда у них право и власть править от имени общества...?" И отвечает: "журналист обладает властью, не будучи избранным."

Число подобных примеров может быть бесконечно умножено. Два писателя с разрывом в век выражают одинаковое презрение к парламентарным институтам. (Для Победоносцева это —

”Великое заблуждение нашего времени...”, для Солженицына это объект постоянных насмешек), а также вообще ко всей системе социальных институтов как таковой, охраняющей политические и гражданские свободы западного человека. Далеко не маловажно качество, которое присуще в равной степени им обоим,— никогда ни в чем не уступать противнику — это фундаментальный порок русских консервативных (да и радикальных тоже) интеллигентов, порок, который в процессе дебилизации (нагнетания состояния болезненности) всей русской жизни уступает первенство лишь привычке топтаться вокруг да около одних и тех же социально-политических идей, совершенно не заботясь об их практическом смысле, об их приемлемости или неприемлемости широкими массами.

Как и все, что пишет Солженицын, его Гарвардская речь отличается незавидным мужеством. Конечно, он намеренно говорил о мужестве, чтобы напомнить тем, кто слушал его в Гарварде — а аудитория, в некотором смысле, замечательная, особенная — о том, как американские ”активисты” участвовали в предательстве Вьетнама и Камбоджи. А как много еще говорит он о таких вещах, о которых необходимо говорить, но которые обычно умалчиваются из-за тирании конформизма! Его пренебрежительные ссылки на ”недальновидного политика, подписавшего поспешную вьетнамскую капитуляцию”, его презрение к политическому аморализму американских ”весьма видных деятелей”, которые, смешивая добро и зло, право и неправое, подготавливают

победу "абсолютного зла", его описание государственных чиновников, которые пытаются оправдать свою трусость интеллектуальными или моральными аргументами -- все это было прекрасно сказано в речи и также прекрасно было воспринято гарвардскими слушателями, которые несмотря на замешательство, отвечали время от времени на увещевания своего мучителя взрывами вполне сознательных аплодисментов.

И все же, как и многие другие консерваторы, Солженицын намного лучше в диагностике заболеваний, чем в отыскании средств их лечения. Но консерватизм Солженицына и его предшественников, поражает меня своей неубедительностью по двум причинам.

Критика духовного разложения и трусости Запада, правильная по существу, является тем не менее полуправдой. Верно, что американская пресса, как нигде в мире, является открытым форумом мнений, каким и хочет быть по идее, и что она присвоила себе огромную власть. Но верно и то, что эта пресса спасла Солженицына от советской полиции, помогла ему найти пристанище в Америке и позаботилась о том, чтобы его Гарвардская речь была передана по радио во все концы земного шара. Допустим, что наш юридический формализм может извести человека и устроить слишком хорошее житье слишком большому числу юристов. Тем не менее, стоит упомянуть, что благодаря нашему бездушному формальному легализму, у нас в Америке нет системы ГУЛаг. А как раз это оказалось не под силу славянофильской идее превосходства "человеческой"

справедливости над "холодным" законом. Я уверен, что американцы со всем своим потаканием земным слабостям и заботой о материальных интересах, которые явно присутствуют в нашем обществе и которые явно способствуют разрушению духовной жизни, все-таки народ более добродетельный, более щедрый, более трудолюбивый, чем русские в массе своей, чья бедность и незащищенность вынуждает их заботиться в первую очередь о себе, не оставляя ни времени, ни сил, ни желания помогать другим. Каждое темное явление западной культуры имеет свою светлую сторону. И в конце концов это является результатом именно тех особенностей нашей системы, которые Солженицын так сильно критикует: свободы, законности, благосостояния.

Но похоже, что Солженицын ошибается и в более глобальных вопросах— там, где идет речь о высшем благе в его понимании, о конечной цели нашей жизни на Земле, о "нравственном возвышении", о том, что человек призван "покинуть жизнь существом более высоким, чем начинал ее". Такая цель несомненно достижима, только если человек, отдельный индивид, приложит к тому старания и только в среде, где он свободен — свободен не только выбрать "правильный" путь, но также ошибаться и на ошибках учиться. Более того, нравственность — есть цель, которую индивид может осуществить только в обществе и ему необходима защита (воплощенная в системе объективного права, а не как субъективная справедливость) от постоянных, неконтролируемых конфликтов со своими ближними. И,

наконец, "нравственное возвышение" предполагает определенный минимальный стандарт жизни, ибо, в отличие от горстки святых, люди не могут отдаться моральному совершенствованию, если они не в состоянии удовлетворить свои основные потребности. Таким образом, получается, что закон и благосостояние отнюдь не должны презираться. Они хоть и недостаточные, но необходимые условия для нравственного возвышения человека, которое Солженицын считает высшей задачей человека на Земле.

Для того, чтобы осуществить эту задачу, мы должны принять свободу, превращающуюся иногда в распущенность, законность с ее жесткими рамками и благосостояние, которое иногда перерастает в одержимость материальными благами, в чистое потребительство. Мы должны принять их, если не намерены их менять. Общество — не есть ассоциация для совместного стремления к добродетели, ибо, что есть добродетель для одного, то для другого — беззаконие. Иными словами, такая концепция неизбежно приводит к деспотизму. Скорее, общество есть некая среда, где люди могут научиться быть терпимыми друг к другу; общество позволяет человеку успешнее бороться со своими слабостями. Не парадоксально ли, что западная культура, которая якобы и должна основываться на понятии человеческого совершенства, совсем не исключает возможности греха, тогда как идеология, которой придерживается Солженицын, т. е. постулирующая наличие неисправимого изначального зла в человеке, настаивает на том, что человек никогда не заблуждается!

ЗАКАТ ЕВРОПЫ

Александр Солженицын говорит с нами как современный представитель русской православной традиции. Сто лет назад Достоевский защищал те же идеи, полагая, что Запад из-за своего материализма и легализма находится в ужасающем состоянии. И в точности так же, как Достоевский в Легенде о Великом Инквизиторе ("Братья Карамазовы") карикатурно изображает римский католицизм, так и Солженицын в своей Гарвардской речи карикатурно, с точки зрения ортодоксального христианства, изображает наше общество.

И хотя сам я принадлежу совсем к другой традиции, я могу, по крайней мере отчасти, в чем-то согласиться с ним. Но я совершенно четко осознаю, что он допускает ту же ошибку по отношению к нам, в которой он нас обвиняет. Т. е. он применяет систему ценностей одной культуры при анализе другой. Можно и корову оседлать, и верблюда, но на них далеко не уедешь, это не конь, чтобы галопом скакать. И если наша нормативная система в условиях России ни на йоту не

прояснит ни мотивов, ни принципов человеческого поведения, то почему Солженицын, измеряющий все православными, религиозными мерками, должен понять что-то в жизни Соединенных Штатов и Западной Европы?

Предсказаниям о закате Европы уже по крайней мере лет двести. Но, как выразился Марк Твен, комментируя сообщения о своей смерти, они сильно преувеличены. Немецкий философ Иоанн Готфрид фон Гердер (1744-1803) был, по видимому, наиболее известный из первых защитников этой идеи. С новой силой она прозвучала в 1812 году, когда русские солдаты побили Наполеона. И тот факт, что русские солдаты обошлись аналогичным образом с Гитлером в 1943-1945 годах, делает исключительно интересной попытку сравнения современной международной политики с международной политикой начала XIX века.

Западные европейцы не поддались угрозе со стороны русского востока в XIX веке, но это не дает никаких гарантий, что их наследники в XX или XXI веке поступят так же. Мрачные предположения Солженицына не следует отклонять как необоснованные, но не нужно и относиться к ним слишком серьезно -- точнее, принимать их за что-то более серьезное, чем они есть на самом деле. А на самом деле это очень яркая, сильная карикатура на нашу действительность, утрирующая то, что Солженицын считает в ней отвратительным априори, без всякого анализа, не разбираясь ни в возможных альтернативах, ни в цене, которую необходимо заплатить, реализуя такие альтернативы.

То, что он говорит о правительстве и публике— мне кажется бредом от начала до конца. С одной стороны, он сожалеет об утрате гражданского мужества и считает, что мы должны были продолжать войну во Вьетнаме до тех пор, пока коммунизм там не был бы разбит полностью и окончательно, убивая при этом великое множество вьетнамцев, которые, в конце концов, предпочли строить свой собственный национальный коммунизм. Мне кажется, напротив, мы продемонстрировали гражданское мужество, выведя наши войска из Вьетнама, хотя и с запозданием. Если американская идеология что-то значит, то она должна позволить большинству народа, который живет где-то вне Америки, на своей земле, выбрать любую форму правления — такую, какую они хотят. Если окажется, что они выбрали тиранию, которая опасна и оправдывает попираание прав человека, это еще не причина для нас разувериться в том, что борьба за свободу и гуманность не требует совершения крестовых походов с целью навязывания американских норм правосудия и политического приличия.

Солженицын критикует нас за то, что мы якобы думаем, будто мир стремится следовать нашему примеру. С этим я вполне согласен. Но тогда как же он хочет, чтобы мы проявляли наше гражданское мужество, навязывая свободу и американский образ жизни вьетнамцам и другим народам, у которых совсем другая культура? Скорей всего, понять это можно, приняв во внимание его личный опыт. Жизнь в условиях советской тирании повлияла на него так, что теперь он

страстно желает видеть коммунизм поверженным повсюду. Он вообще не задумывается о дилемме, перед которой в этом случае оказывается такая страна как Соединенные Штаты. Ведь если действовать так, как этого хотят Солженицын и другие американские сторонники холодной войны, то Соединенные Штаты должны будут стать страной милитаризованной, бюрократической, с репрессивной идеологией, т. е. перенять многие советские черты, что, разумеется, недопустимо и с точки зрения Солженицына.

Иными словами, все в речи Солженицына, что касается оценок американских практических действий, полно противоречий и путаницы. Так же, как фанатичные антиклерикалы, в прошлом сами католики, воспроизводят в обратном виде догматизм веры, рьяно отрицаемой ими, так и Солженицын несет в себе отпечаток коммунизма, который отвергает, и православия, которое он принимает. Догматик наизнанку, он пытается натянуть на взбалмошный Запад смирительную рубашку единой Истины и единого Долга, чтобы отстоять свою истину. В этом смысле у русских коммунистов и у русских православных одна и та же логика. Это то, что русский коммунизм перенял у православия. А потому Солженицын, оставаясь верным своему русскому прошлому, чувствует себя не в своей тарелке в условиях нашего гораздо более хаотичного мышления и деятельности.

Разделяваясь столь решительно с его критикой нашего общества, которая, в общем, представляет собой результат непонимания и

близорукости, порожденных его культурной ограниченностью, я рискую сам превратиться в такого же слепца, как и он. Козырять своей культурной ограниченностью как бы в отместку и бешено защищать ценность плюрализма, свободы, закона и рынка -- это дешевый способ обойти более фундаментальные проблемы, затронутые им. Мы такие какие есть, и не все в нас прекрасно и достойно восхищения. Суверенность рынка часто оборачивается безвкусными товарами и еще более безвкусными развлечениями. Но как можно внедрить другие нормы вкуса в сознание телевизионных постановщиков или повлиять на вынесение более ответственных суждений при сообщении последних известий, не наделяя какого-либо цензора дополнительной властью? А кто будет цензурировать цензора? Если наименьшее общее кратное вкуса снижается до секса и насилия, то в телевизионных программах будут господствовать секс и насилие, пока будут господствовать императивы рынка.

Сведение человечности к животному уровню мешает развитию человеческих потенций, и христианская традиция, которая старается скорее умалить, чем возвысить роль животного начала в человеческой натуре, привлекает меня почти так же сильно как и Солженицына. Подчеркивание животной стороны человеческого существования, свойственные американской массовой культуре последних десятилетий, означает, по видимому, что это всегда доминировало в сознании подавляющего большинства человечества, и просто вырвалось наружу. Старые запреты

были уничтожены, чтобы радиодейтели смогли заполучить как можно более широкую аудиторию для сбыта любой своей продукции. Интеллектуальная и культурная элита, когда-то контролировавшая почти все формы коммуникации, была отнесена на задворки, не потеряв полностью доступа к своим бывшим слушателям, но утратив многих из них.

Я не знаю наверняка, правда это или нет. Возможно, вероятность героических и жертвенных действий была бы большей, если бы тому, кто на это способен, была предоставлена монополия говорить с публикой. Доступность порнографии и показ насилия могут привлекать и тех людей, которые посторонились бы таких вещей, шепчась о них только украдкой. Хотя, с другой стороны, статистически это ничего не меняет. На самом деле, мы просто не знаем последствий воздействия на личность и общество тех телевизионных и радиопрограмм, которые предлагают наши средства массовой коммуникации.

Здесь я полностью согласен с Солженицыным: коммерция — это очень неадекватный указатель в делах культуры. Моя проблема заключается в том, что я не вижу, каким образом можно навязать свои или чьи-либо вкусы остальному обществу, не превращаясь в тиранов, подобных советским, и не действуя так глупо и безрезультатно, сознавая, что животность глубоко укоренена в природе человека. Что последнее верно, мне подсказывает опыт пребывания в Армии Соединенных Штатов почти 40 лет назад, когда средства

массовой информации только начали покусывать краешки христианского нравственного наследия.

Более важная вещь в солженицынской атаке — соображение, которое он никогда вслух не высказывает, но которое присутствует имплицитно во всех его замечаниях. Он, кажется, убежден, что всеобщее могущество и безопасная жизнь в мире могут существовать, лишь когда есть какой-то объединяющий идеал или миф, который вдохновит на защиту его миллионы и сотни миллионов самых разных людей, ведомых государственным мужем, желающим, выражаясь словами Солженицына, "достичь чего-то конструктивного для своей страны". Сплачивающие идеалы, конечно же, важны. Они необходимы для политических действий. А тот миф, который Солженицын называет "рационалистическим гуманизмом", потерял свою силу, и не в состоянии призвать нас к действию. По-видимому, это отчасти верно. Но Солженицын, отрицающий начисто "гуманистический рационализм", хочет, чтобы мы думали, что это верно полностью.

Скажем, тот факт, что мы всегда хотим больше, чем мы можем приобрести, большинство людей воспринимает как свидетельство постоянной неудовлетворенности тем уровнем материального изобилия, который уже достигнут. Но для Солженицына это доказательство ложности самого идеала, хотя с тем же успехом этот факт может быть понят как проявление действия некой невидимой направляющей руки, некогда так восхищавшей Адама Смита, которая

обеспечивает нормальное функционирование экономической системы вне зависимости от того, на каком уровне благосостояния и материальной обеспеченности находится данное общество. На самом деле, материальное обогащение -- это очень мощный двигатель человеческой активности. И мужчины, и женщины диаметрально противоположных культур, если представляется возможным, обычно избирают тот способ действия, который по их мнению, приведет к увеличению их благосостояния.

Западные общества достигли более высокого благосостояния по сравнению с другими, и это показало силу Запада на международной арене, хотя богатство может вызывать не только восхищение, но и зависть и презрение.

Мне кажется, что самый существенный недостаток нашего секуляризованного представления об "истинном назначении человека", переданного нам XVIII веком, является то, что в основе его лежит индивидуализм. Но человек -- существо общественное, и его счастье зависит главным образом от его участия в жизни группы людей, имеющих те же ценности и цели, и в силу этого становится возможным содействие друг другу в делах и взаимопомощь. Существеннейшим является вопрос, на который у нас нет ответа: в какую группу или группы нам следует войти? К нашему большому сожалению, лучший из известных нам способов сформировать группу, создать общество -- это противопоставить ее какому-либо сопернику. Героизм и другие виды социального поведения возникают в ситуации "лицом к лицу с

врагом". Но такому расколотому миру угрожает тотальное разрушение в наш атомный век.

Раньше, в XIX веке и в первой половине XX, западный мир мог решить все эти проблемы путем развития национального самосознания. Национализм действительно уравнивал индивидуализм западного секуляризованного мышления. Через осознание себя как частицы нации человек преодолевал свои недостатки. К такому сознанию пришли миллионы. Это поддерживало правительства и политиков отдельных наций в их стремлении к могуществу и главенству. Это придавало смысл жизни городскому населению, не имеющему корней, в сознании которого древние религиозные ценности заметно потускнели.

Однако во второй половине XX века сама идея национальной принадлежности уже не привлекает людей западного мира (на обоих берегах Атлантического океана) в точности так же, как в свое время утратила привлекательность идея о возможности попасть в Царство Небесное. Вакуум, образовавшийся в сознании человека в результате утраты этой веры и поддержки со стороны общества, это, по-видимому, как раз то, что имеет в виду Солженицын, говоря об упадке у нас гражданского мужества. Разумеется, у нас всегда была возможность осознавать свою принадлежность к некоему универсуму, например — "хорошим европейцам" или жителям планеты Земля. Но такие идеи вряд ли удерживаются в сознании массы людей. Напротив, за последние десятилетия в обществе получили небывалое распространение деления и подразделения: черные,

латиноамериканцы, первопоселенцы, различные этнические меньшинства и т. п. И для очень многих людей квазинациональная принадлежность приобрела большое значение: членство в братствах и сектах или осознание себя через свою принадлежность к определенному социальному институту, скажем бизнесу или какой другой профессиональной ассоциации.

Традиционная вера в народ, единый и неделимый, и в ценности, которые отстаиваются этим народом, ни в коей мере не исчезла, как и христианская или какая-либо иная зрелая и оформившаяся вера. Но традиционные идеалы и формы самосознания несомненно утратили свое самоочевидное мужество. Никто не может сказать заранее, какова будет реакция массы в ситуации какого-либо неожиданного кризиса, опасного для национальных ценностей и национальной независимости.

Солженицын указывает нам на это. Мы тут, в Соединенных Штатах, не знаем, как долго еще самоочевидные истины Декларации Независимости, которые самым несовершенным образом воплощаются в решениях наших бесчисленных проблем государственными деятелями, будут обеспечивать нашим избранникам поддержку, необходимую для успешного соревнования с другими государствами и с другими политическими идеологиями. В прошлом часто бывало, что великие государства и могущественные бюрократии оказывались трусоваты. Это случилось с царской империей в XIX веке, когда ее военное преимущество перед другими европейскими

государствами, очевидное в 1815 году, к середине века сменилось на слабость по двум причинам: образованные классы перестали твердо поддерживать идеалы царского самодержавия и усугубилась техническая отсталость России. Может быть американская республика проделает тот же путь к концу XX века.

Но прежде чем отчаиваться или вместе с Солженицыным начать поиски нового духовного факела, способного вдохновить, поджечь мир и изменить всю политику, нужно выяснить, не страдает ли Советский Союз и другие наши противники от такого же или даже более серьезного внутреннего кризиса. Из того, что известно о Советском Союзе, можно предположить, что разочарование в идеалах коммунизма там гораздо шире и гораздо острее, чем наше разочарование в наших политических мифах. Репрессивные режимы в других странах, по-видимому, порождают противоречия, которые скрыты от глаз публики, но сильно влияют на поведение людей.

Если американцы и другие жители западного мира будут уверены, что они сражаются за правое дело, они, несомненно, быстро найдут в себе силы сплотиться вновь, как их предки в 480 году до н. э., когда кучка греческих городов победила персидскую армию не из-за превосходства организации и вооружения, но потому, что греки сражались добровольно, как свободные граждане, защищая свою родину. Я уверен, что свободное объединение для защиты потускневших, но все же живых символов вероятнее в обществе, где соревнование мнений дает возможность быстро

распознать и пресечь любые поползновения к тирании; чем в обществе, где бюрократия наделена всевозможными привилегиями и почти неограниченной властью над людьми.

Согласен, преимущества, которыми располагает человек Запада, это скорее надежда, вера, чем факт. Иногда кажется, что они иллюзорны. Граждане не всегда вовремя сплачиваются, а цель не всегда оказывается достаточной, чтобы оправдать личные жертвы и риск. Но чем идти за Солженицыным по неведомому пути к спасению – вверх, как он говорит, или вниз или в сторону, я предпочитаю по-прежнему верить, что при необходимости западное плюралистическое общество окажется достаточно единомудушным и сильным, чтобы победить.

Михаэль Новак

О БОГЕ И ЧЕЛОВЕКЕ

По-моему, текст Гарвардской речи Солженицына является наиболее важным религиозным документом нашего времени. Он захватывает сильнее, чем *Rasem in Terris*, и проникает в сущность человека и человеческого существования глубже, чем все, что исходило от Всемирного Совета Церквей. Вера в силу правды вырвала Солженицына из глубины отчаяния, когда нравственная капитуляция казалась такой привлекательной, а безнадежность была так реальна. И это не было спасением лишь его собственной души через веру в Иисуса Христа, это был луч света для всего рода человеческого. Он чувствовал себя обязанным сказать правду о том, что может случиться в будущем.

Основными в речи Солженицына являются части 5 и 14. Он утверждает, что "падение мужества может быть самое разительное, что видно в сегодняшнем Западе постороннему взгляду. Этот упадок мужества особенно сказывается в прослойках правящей и интеллектуально ведущей, отчего

и создается ощущение, что мужество потеряло целиком все общество... Напоминать ли, что падение мужества издревле считалось первым признаком конца?" И далее он анализирует формы, в которых проявляется этот упадок. В главе 14 он возвращается к основной теме -- внутренней утраты воли. "Для обороны нужна и готовность умереть, а ее мало в обществе, воспитанном на культе земного благополучия. И тогда остаются только уступки, оттяжки и предательства". И вновь "западное мышление стало консервативным, только бы сохранялось мировое положение, как оно есть, только бы ничего не менялось... И перед лицом опасности -- как же с такими историческими ценностями за спиной, с таким уровнем достигнутой свободы и как-будто преданности ей -- настолько потерять волю к защите!" И далее, пытаясь найти ответ на этот больной вопрос, Солженицын предпринимает глубокое исследование души западного человека и интеллектуальных корней западного типа мышления.

Солженицын констатирует наступление всеобщего недуга -- утраты мужества и воли к защите даже самих себя. Он определяет его две основных причины: состояние западных социальных институтов (главным образом, права и прессы) и представления о сущности нового человека, зародившиеся в Новое время. Он пишет: "И тогда остается искать ошибку в самом корне, в основе мышления Нового времени. Я имею в виду то господствующее на Западе мирозерцание, которое родилось в Возрождение, а в политические формы отлилось с эпохи Просвещения".

Как раз в этом и заключается основное предостережение Солженицына западным гуманистам и в особенности тем, кто не верит в Бога и в принципе отвергают как иудаистское, так и христианское мышление. По-видимому, с точки зрения Солженицына, именно они повинны в надвигающейся катастрофе. И если мы уж стали слушать его, то мы должны серьезно отнестись к такому обвинению.

Прежде всего нужно сказать, что Солженицын демонстрирует классический католический подход в анализе общей духовной ситуации на Западе. Его основной мотив -- это "неправильный поворот" в истории. Даже некоторые солженицынские термины (например, "антропоцентризм") напоминают термины, которые употреблял католический философ Якоб Маритен в своей книге "Интегральный гуманизм". Все они в русле той традиции, к которой принадлежат многие христианские и иудаистские гуманисты -- Пауль Тиллих, Рейнхольд Нибур, Уилл Херберг, Т. С. Элиот, Христофор Даусон, Эмиль Факенхайм.

Единственно в чем можно возразить Солженицыну, что без "рационалистического гуманизма" или "гуманистической автономности", которые им отрицаются, исторически не могли возникнуть ни западные свободы, ни творческий дух технических изобретений, ни стремление к повышению производительности. Различные теократии -- неважно, средневековые католические или более поздние протестантские, или даже русское православное самодержавие, которое Солженицын

хорошо знает, — не всегда способствовали развитию свободы и творческого духа. Напротив, они часто были источником обскурантизма, репрессий и даже препятствовали развитию свободы. Короче, мой ответ Солженицыну таков: мы, бедные секуляризованные гуманисты со всеми нашими ошибками, ничему не должны учиться у теократов или у тех, кто, как учит история, частенько становились силами реакции. С какой стати мы должны уступать то, что имеем, каким бы противоречивым и проблематичным оно ни было, тому, что очевидно является худшим?

Когда Солженицын рассуждает о "катастрофе автономного безрелигиозного сознания", неверующий вполне естественно может потребовать доказательств, что религиозное сознание не окажется еще более ужасным. Солженицын говорит, что безрелигиозное сознание "меркою всех вещей на Земле поставило человека — несовершенного человека, никогда не свободного от самолюбия, корыстолюбия, зависти, тщеславия и десятков других пороков". У неверующего есть все основания возразить, что религия, вроде бы, далеко не лучше. И далее Солженицын говорит: "И вот ошибки, не оцененные в начале пути, теперь мстят за себя. Путь, пройденный от Возрождения, обогатил нас опытом, но мы утратили то, Целое, Высшее, когда-то полагающее предел нашим страстям и безответственности. Слишком много надежд мы отдали политико-социальным преобразованиям — а оказалось, что у нас отбирают самое драгоценное, что у нас есть: нашу внутреннюю жизнь. На Востоке ее вытаптывает

партийный базар, на Западе — коммерческий”. И опять же неверующий возразит, что человек без Бога может быть также нравственен, как и верующий, и иметь такую же сложную духовную жизнь и даже более сложную, чем у верующего.

Тогда покажется, что Солженицын просто шовинист, пытающийся возложить всю вину за катаклизм, который вот-вот обрушится на всех нас, на плечи тех, кто думает, что религия — это зло, и пытающийся с помощью риторики заставить их принять его собственные религиозные взгляды. Другими словами, он практикует что-то вроде духовного империализма. Можно даже подумать, что, если дать ему послушать побольше бестолковых религиозных деятелей Запада, то нужно посмотреть. Будет ли он и после этого уверен в силе религии.

Все это так и, тем не менее, все это не затрагивает существа речи Солженицына. Я не верю, что честный мыслитель в XX веке не знает, что существуют героические личности, которые, несмотря на свой атеизм или агностицизм, были надежными проводниками человека в отчаянных ситуациях. Борцам против фашизма, сталинизма или еще какого-нибудь такого же грандиозного зла, никак нельзя отказать ни в мужестве, ни в воле. Не думаю, что Солженицын вообще не допускает самой возможности проявления духовного героизма среди атеистов и агностиков.

Это невозможно и с религиозной точки зрения. В любом случае, как он и сам признает, вера — это дар. Без нее или до того, как быть одаренным, человек в одиночку должен делать все, что в его силах.

Но социальный анализ Солженицына — это описание среднего класса, к которому принадлежит подавляющее большинство людей в любом обществе, включая интеллигенцию. Солженицын изучает недуг, который он определил не на примере редких индивидуумов, специально для этого выделенных, но для типичных граждан в условиях функционирования типичных социальных институтов и под влиянием типичных культурных символов. Но даже довольно средние люди, не отчаянные герои и не отъявленные грешники, все-таки различаются в антропоцентричных и геоцентричных обществах. Это коренится в разном обосновании нравственности. В антропоцентричном обществе нравственность укоренена в сознании отдельного человека, в его совести, что приводит к всеобщей нерешительности: у тебя свои моральные убеждения, у меня — свои. Кто может сказать, кто прав? И отсюда непосредственно вытекают серьезные социальные последствия: утрата воли, нравственной определенности, направленности. У Советов своя система, у нас — наша, все зависит от точки зрения и т. п. Эти истины, вежливо говоря, давно набили оскомину.

В этом случае любое суждение о Солженицыне становится сразу же личным. Я думаю, я уже выразил свое мнение о безверии и мое полное признание мирского святого в своих книгах "Вера и безверие" (1965) и "опыт переживания ничто" (1970). И все же мне понятны и категорические высказывания Достоевского ("Если Бога нет, то все дозволено") и Честертона ("Когда человек перестает верить в Бога, он не верит ни во что, он

верит во что-то”). Смелые и сильные люди продолжают уважать честь, мужество, свободу и страдание и даже отдают свои жизни, отстаивая свои ценности как самое важное и самое главное, что у них есть, общество, основанное на отрицании Бога и признании человека как меры всех вещей, должно, согласно его же собственной человеческой логике, становиться постепенно все незащищенной и безвольней. И если кто-то говорит, что, мол, тебе нравится X, а мне Y, то принцип лояльности утверждает, что оба вполне могут оставаться при своих мнениях. А в широких массах населения то, что одно поколение считало терпимостью, другое принимает за равнодушие. Люди остаются со своими собственными моральными мерками.

Джон Гарвей, комментирующий речь Солженицына в "Коммонвиле" (сентябрь 1978), рассказывает, как удивилась одна студентка, когда он попытался показать однажды на лекции, каким образом можно доказать, что какая-то ценность может быть выше другой. Она просто не могла поверить, что кто-то действительно считает какие-то ценности лучше других. Один из профессоров, который обычно вел занятия (Гарвей просто приехал с курсом лекций), согласился с ней, и даже не хотел признавать превосходство ценностей противников Гитлера перед гитлеровскими. С точки зрения этой студентки и этого профессора, Гарвей просто демонстрировал нелояльность, невежество и культурный шовинизм.

Миллионы среди нас признали свою некомпетентность при вынесении оценочных суждений.

Они уверены, что могут выбрать ценности только для себя и что было бы неправильно (аморально? невежественно? насильственно?) "навязывать" свои ценности другим или же применять собственные ценности при оценке чужих поступков или суждений. Но по сути дела это и есть отказ вообще выходить на какой бы то ни было моральный уровень, который существует, только если его реалии, законы, принципы универсальны и обязательны для всех. Ведь если люди отказываются от моральных оценок, то они остаются на уровне личного чувства и личных предпочтений. И это значит, что они оправдывают тех, кто предпочитает пытки, грабеж, систематические убийства, авторитаризм, рабство. Конечно, не наталкиваясь на такие вещи повседневно, живя на хорошо укрепленном острове свободы, подобные защитники максимы недискриминации мнений, не видят последствий своей собственной моральной неразборчивости. Они верят в "свободу", в "непринуждение", в "невмешательство социальных институтов в дела личности". Они не имеют ни малейшего представления о том, насколько редка в истории человечества возможность наслаждаться подобными свободами и как глубоко должны быть моральные и философские основания социальной системы, в которой существуют подобные свободы.

Совершенно верно Солженицын указывает на глупый оптимизм в отношении свободного индивидуума, весьма распространенный в нашей культуре. "Зло" — это совсем не то слово, которое любят употреблять просвещенные люди.

Преувеличения, ошибки, влияние среды, неверные суждения, временная потеря здравомыслия — вот какие категории их вполне устраивают. Приписывать зло, злой умысел или что-то демоническое (дьявольское) человеческой воле, значит возвращаться к старомодным религиозным понятиям, которые слишком жестоки и безжалостны.

Любопытно, однако, отметить, что наши общепризнанные журналисты, культурные лидеры, редакторы частенько бранят американскую публику еще и похлеще, чем это сделал Солженицын. Они величают американцев богатеями, мягкотелыми, слабохарактерными, эгоистичными, прожорливыми, развращенными, занятыми только собой, узколобыми, расистами, империалистами, милитаристами, вконец разложившимися. Юджин Ионеско недавно писал в "Фигаро" об Америке:

"Американцы хотят чувствовать себя виновными. Они испытывают потребность быть виновными. Это тот самый мазохизм, который мы так недавно наблюдали во Франции. Мне действительно захотелось подбодрить их, этих американцев. Я и постарался это сделать... А либеральные антиамериканцы считают, что ничего хорошего не может получиться из Соединенных Штатов. Даже теперь. Нужно называть их расистами и настаивать на том, что их потребительское общество хуже, чем любое из неразвитых обществ. Обзывать их, оскорблять их — вот это лекарство для них..."

(перепечатано в "Майами Херальд",

январь, 1979)

Солженицын находит источник такого ощущения: "весь этот переклон свободы в сторону зла создавался постепенно, но первичная основа ему, очевидно, была положена гуманистическим человеколюбивым представлением, что человек, хозяин этого мира, не несет в себе внутреннего зла, все пороки жизни происходят лишь от неверных социальных систем, которые и должны быть исправлены".

Странно, но кажется, что на факультетах социологии и психологии по всей Америке, а также в газетах проповедают, что индивид не имеет морали сам по себе, а все — как плохое, так и хорошее — проистекает из социальной системы. Индивидуальная нравственность — это дело терапии, что и сказано в таких книгах, как "В поисках наилучшего" ("Looking out for number One"), "Школа самоутверждения" („Self-Assertiveness Training"), "Я хорош и ты хорош" („I'm OK, You're OK").

Все моральные вопросы политизируются. Это такие вопросы, с которыми сталкивается человек, "вырванный" из структур. Как раз в этом и обнаруживается тайная связь современного либерального коллективизма с марксистским коллективизмом, о котором так презрительно говорит Солженицын. И снова уместно вспомнить Ионеско:

"Из 100 американских студентов 95 политически индифферентны и 5 — марксисты. А они-то очень активны и более продуктивны. Те же, кого называют американскими интеллектуалами —

журналисты, писатели, актеры, издатели, адвокаты — либералы, вопреки всем историческим ошибкам, которые приписывают либерализму на протяжении последних 50 лет. И такое состояние умов повсеместно, от Нью-Йорка до Лос-Анжелеса. "Бог — мертв, Маркс — мертв — и я себя плохо чувствую" — гласил один из уличных лозунгов на студенческой демонстрации в 1968 году во Франции.

("Ле Фигаро", перепечатано в "Майами Херальд", январь 1979).

Солженицын прекрасно понимает это тайное родство между либеральным гуманизмом и марксизмом. Цитируя высказывание Маркса в 1848 году, что "коммунизм это реальный гуманизм", он поясняет: "И это оказалось не совсем лишено смысла: в основаниях выветренного гуманизма и всякого социализма можно разглядеть общие камни: бескрайний материализм; свободу от религии и религиозной ответственности (при коммунизме доводимую до антирелигиозной диктатуры); сосредоточенность на социальных построениях и наукообразность в этом (Просвещение XVIII века и марксизм). Не случайно все словесные клятвы коммунизма — вокруг человека с большой буквы и его земного счастья. Как будто уродливое сопоставление — общие черты в мирознании и строе нынешнего Запада и нынешнего Востока! — но такова логика развития материализма.

Причем, в этом отношении родства, закон таков, что всегда оказывается сильней, привлекательней, победоносней то течение материализма, которое левей и, значит, последовательней. И гуманизм, вполне утерявший христианское наследие, не способен выстоять в этом соревновании. Так, в течение минувших веков и, особенно, последних десятилетий, когда процесс обострился, в мировом соотношении сил: либерализм неизбежно теснился радикализмом, тот вынужден был уступать социализму, а социализм не устоял против коммунизма. Именно поэтому коммунистический строй мог так устоять и укрепиться на Востоке, что его рьяно поддерживали (ощущая с ним родство!) буквально массы западной интеллигенции, не замечая его злодейств, а уж когда нельзя было не заметить — оправдывали их. Так и сегодня: у нас на Востоке коммунизм потерял уже все, он упал уже до нуля, и ниже нуля, западная же интеллигенция в значительной степени чувствительна к нему, сохраняет симпатию — и это-то делает для Запада такой безмерно трудной задачу устояния против Востока”.

В нынешней Америке выступают с наибольшей моральной убежденностью, с наибольшей определенностью, с наибольшим жаром те, кто полусознанно являются марксистами. Ионеско понимает это. И Солженицын понимает это. Редакционные статьи в "Нью-Йорк Таймс" — вроде бы антимарксистские с наигранной смиренной терпимостью, осторожно прагматические, либерально скромные, однако в них не найдется ни слова

против часто слишком непримиримых моральных оценок, высказываемых стоящими далеко влево на политической шкале. А встретив такую жесткую определенность, и в самом деле, что они могут сделать, если они принципиально не должны отвечать с такой же определенностью ударом на удар?

Верно, что религия в Америке — и протестантизм, и иудаизм, и католицизм — необычайно неинтеллектуальна, узка и догматична. Скорей всего, подсознательно находясь в оппозиции к ней, просвещенные слои испытывали чувство глубокого удовлетворения от того, что у них не было "ответов на все вопросы", что они лояльны и прагматичны, не разглагольствуют о моральных ценностях и абсолютах. Плюралистическое общество должно было быстро усвоить, что мужчины и женщины с очень разным опытом, разными моральными убеждениями и разными религиозными принципами не нуждаются в четко выраженном согласии по поводу фундаментальных истин и в состоянии двигаться вперед, жить дальше, договариваясь лишь о вещах практических. Якоб Маритен называет это "практическим гуманизмом", другие — "экуменизмом", "плюралистическим единством", "общей верой".

Но сейчас, т. е. спустя четыре поколения после начала великих эмиграций, которые усилили плюрализм нации, превращая ее то в католическую, то в иудаистскую, то в протестантскую и одновременно формируя массы неверующих, сейчас становятся очевидными недостатки такого подхода. До тех пор пока все эти разнообразные

традиции изучаются, вскармливается, поддерживаются как общественно значимые, их различность обновляет нашу веру, которая питает наши демократические институты. Но если каждое подрастающее поколение все меньше и меньше знает о своих корнях и становится все более и более терпимым, что значит на самом деле -- все более и более равнодушным к духовному наследию, продолжателями которого они являются, плюралистическая организация общества постепенно деградирует в такую, которая основана на принципе: "Делай только свое дело". Любое.

Десятилетие, прошедшее под лозунгом "Я" и "Мое", не было результатом неожиданной вспышки эгоистичности или нежданно-негаданно нахлынувшего морального разложения. Оно явилось логическим следствием терпимости общества, очень поверхностной, сопряженной с потерей исторической глубины индивидуума. В некотором смысле люди стали более походить друг на друга (носить одну и ту же одежду, ходить в одни и те же школы, читать одни и те же книги, узнавать новости из одних и тех же источников, ходить на одни и те же приемы, "свободно" относиться к одним и тем же нравам). Но, с другой стороны, они утратили культурное наследие, которое, делая их отличными друг от друга, в то же время закладывало в них фундаментальные общезначимые ценности. Ничто так не воодушевляет индивида как его собственная уникальность и неповторимость. Однородное и все-таки фрагментарное общество всевышнего "я" (найди себя, стань истиной для себя самого) есть логическое продолжение материалистического гуманизма.

Разумеется, такому повороту событий противостоят разные духовные искания, а также неисчерпаемо сильные традиционные моральные представления, которые разделяют очень многие семьи, отдельные люди и некоторые писатели и художники; представления еще живые во многих школах, церквях, интеллектуальных центрах. Свободное общество неизбежно демонстрирует противоположные образцы развития, парадоксальные смещения слабости и силы. Ведь, в конце концов, Солженицын не где-нибудь, а здесь. Его пригласили в Гарвард, и для многих его слова были как глоток воды в пустыне, многие ждали призыва к решающему бою, к которому долго готовили себя.

Ярко выраженная антипатия к религии, бытующая среди просвещенной публики, остается, однако, фундаментальной слабостью нашей культуры. Если нет ни Бога, ни естественного порядка, ни правого — неправого, укорененного в самой природе вещей, то человек свободен делать с миром все, что пожелает. Сохранившие веру в доброту человеческого сердца не встречались еще с настоящим зверем. Они не представляют себе, что такое организованное зло. Они не в состоянии защитить себя от него. В течение слишком долгого времени они старались "понять" его, научиться испытывать к нему такую же симпатию, какую они хотят, чтобы испытывали по отношению к ним, терпеть его, найти ему оправдание, не поддаваться на его провокации. Потом, со временем, когда они стали постигать его силу (точнее, ощущать ее в своих снах и тайных фантазиях),

их парализовал страх. И теперь они не могут даже пальцем пошевелить, чтобы сделать что-то или сказать что-то против него. Во-первых, им трудно признать как глубоко они заблуждались. Во-вторых, у них сердце в пятки уходит, когда они подумают, какую цену надо заплатить, чтобы как-то сопротивляться тому, что стало таким могущественным. И некоторые, замороженные силой зла как такового, присоединяются к нему. А другие стараются ублажить его.

Процесс этот зашел гораздо дальше, чем мы можем подумать. Наши кинофильмы и телевизионные программы — а в них отражаются наши сны — наполнены образами ужасов, горящими руинами, разрушениями, которые мы побоялись бы даже допустить в общественное сознание. И мы все прекрасно понимаем, куда мы движемся. Паралич охватывает нас всех.

Здесь-то и должна помочь религия, пробудить нас от жуткого сна. Но американская религия застряла на одной ноте — ноте вины. И, естественно, она только усугубляет в общественном сознании те слабости, которые описали Солженицын и Ионеско. Вдобавок, американская религия всегда оставалась в основе своей исключительно частным делом. Ни один из теологов еще не создал теории демократического капитализма, религиозную теорию, объясняющую основные социальные институты системы, которая в результате ожесточенной борьбы появилась на арене человеческой истории, имела потрясающий, беспрецедентный успех в моральном и человеческом смысле, и теперь, похоже, раньше времени подходит к своему закату.

Наши проповедники избегают обсуждать социальные проблемы, а те, кто все-таки решается на это, пасуют перед анализом подлинной истории марксизма за последние 60 лет и усваивают скорее вульгарный марксизм. Именно организованные церкви отводят глаза от организованных репрессивных сил в Советской империи и объясняют все происходящее в терминах вины отдельных богатых американцев перед странами третьего мира. И эти же церкви заимствуют многое из марксистской пропаганды, чтобы создать орудие вины и с его помощью сдирать стружку с колеблющихся и замороженных прихожан. Эти церкви проповедуют разоружение, призывают к лояльности по отношению к архипелагу ГУЛаг'у (не прямо, разумеется, но в конечном счете, поддерживают силы организованного тоталитаризма, как только они называют себя "силами освобождения", распространяют идеи умиротворения под видом христианского милосердия. Я посоветовал бы Солженицыну внимательно изучить документы и заявления Всемирного Совета Церквей, духовное состояние и политическое самосознание лидеров "радикальной" и "либеральной" религии), статьи и заметки наших самых представительных политических лидеров, которые публично заявляют о своей религиозности. Я посоветовал бы Солженицыну взглянуть на все это, прежде чем делать выводы, что катастрофа в Соединенных Штатах может быть предотвращена с помощью организованной религии.

Я уже слышу его ответ. Но ведь этой цели можно достичь и другим путем. Артур Шлезингер

младший, который говорит, что научился этому у Рейнхольда Нибура в политике, и меньше — в делах религиозных, в своей ответной статье Солженицыну весьма обеспокоен его "мистицизмом". А другие критики вообще называют Солженицына "фанатиком" и "теократом". Но религиозные доводы могут быть и формой здравого смысла, заземленности и холодного прагматизма. Верно, что Солженицын не указывает идеальных институциональных форм, на которых основано его представление о хорошем обществе. Когда он критикует и социальные системы Запада, и социальные системы Востока — "мир раскололся на части" — неясно, какую альтернативу он может предложить. Но последние строки его речи дают какое-то направление:

"Если не к гибели, то мир подошел сейчас к повороту истории, по значению равному повороту от Средних Веков к Возрождению — и потребует от нас духовной вспышки, подъема на новую высоту обзора, на новый уровень жизни, где не будет, как в Средние века, предана проклятию наша физическая природа, но и тем более не будет, как в Новое время, растоптана наша духовная.

Этот подъем подобен восхождению на новую антропологическую ступень. И ни у кого на Земле не осталось другого выхода, как — вверх."

Есть два мыслителя с таким же мировоззрением, как у Солженицына, которые разработали

интеллектуальную модель христианского гуманизма и христианской культуры. Это Т. Элиот (см. "Христианство и культура", 1960) и Якоб Маритен ("Интегральный гуманизм", 1973). Солженицын может заглянуть в эти тексты, чтобы убедиться, насколько его взгляды отличны от их. Но я думаю, достаточно его текста, чтобы получить представление об обществе, достойном построения: его душа не должна быть так пуста, как душа нашей цивилизации; оставаясь плюралистическим, оно не будет релятивистским. Каждая идея не тождественна любой другой, так же не равны нравственные ценности. Есть действия благие и есть действия дурные. Бесчестие не есть честь, трусость не есть мужество, безразличие не есть сострадание, деградация не есть достоинство, рабство не есть свобода. Общество, которое позволяет все в равной степени, лишь бы отстоять принципы культурного разнообразия и терпимости, подобно индивиду, отказывающемуся от морального выбора и пожимающему плечами: "А в чем, собственно, разница?" Даже если такое общество и такие люди не имеют какого-то страшного врага, они уже сами себя приговорили. Враг застанет их абсолютно беззащитными.

Религия может подвергаться разнообразным историческим изменениям. Как и свобода, это очень деликатный момент в человеческой жизни. Но одно без другого разрушает себя. Более того, у религии много форм: это не только разные традиции христианства и иудаизма, которые непосредственно сформировали Запад, но также те формы классической "естественной" религии —

стоицизм и другие варианты неразвитого гуманизма, которые заложили правовую и интеллектуальную основу Запада. Жизнь духа, к которой призывает Солженицын, не должна быть сектантской, узкой, не должна испытывать недостатка в экуменическом сознании. Конечно, ему было очень трудно выразить это, не прибегая к символике какой-либо одной традиции. Он даже избегал обращения к символам своей излюбленной традиции — русскому православию. Он рассуждал в чисто плюралистической манере, которая не чужда другим религиозным верованиям.

Либеральная, плюралистическая, конституционная демократия ничуть не пострадала бы, если бы она основывалась на понимании человека, такого человека, каким его рисует Солженицын. Человек несовершенен, ему нельзя доверять, он нуждается в постоянной проверке, узаконенной в системе социальных институтов. Билль о правах не пошел бы вразрез с цивилизацией, в которой предлагает нам жить Солженицын. Конечно, он настаивал бы на свободе прессы в такой цивилизации, но прессы, работающей честно и ответственно. Он лишь осуждает тиранию моды и отсутствие соревнования в области идей. Тому, кто не видит принципиальной разницы между "Таймом" и "Ньюзвиком", между "Вашингтон Пост" и "Нью-Йорк Таймс", между Эй-Би-Си, Си-Би-Эс и Эн-Би-Си, будет трудно возразить, что современная действительность слишком ограничена. Словом, ни один из институтов, которыми мы так гордимся на Западе, не исчезнет в том мире, который Солженицын считает идеальным.

Но ему не нравится дух, который населяет, пропитывает и направляет эти институты. Он хотел бы изменить его. Солженицын призывает нас отказаться от релятивизма и морального равнодушия (ты следуешь своим принципам, я -- своим) и быть готовыми к моральному выбору, к критике с моральной точки зрения, к совершенствованию в рамках тех ценностей, которые, по нашему мнению, следует отстаивать. Если я правильно его понял, то его предпосылки очень трезвые: на поверхности одна система ценностей (христианство) кажется отличной от другой (иудаизм), но те, кто последовательно стремятся к истине, обнаруживают их неожиданное и замечательное сходство.

Больше всего на свете расколотый мир хочет все соединить. Солженицынское видение мира не отрицает социальных институтов, которые он понимает отчасти в свете идей Просвещения и антропологического гуманизма. Такое видение помогает проникнуть в самую суть.

С H A L I D Z E P U B L I C A T I O N S

СССР: Внутренние противоречия. Редактор *В. Чалидзе*. 1-й выпуск -- 284 стр., цена выпуска -- 15.00

Проблемный журнал, печатающий статьи о социальных, экономических, национальных и других вопросах.

Солженицын в Гарварде. 205 стр., цена -- 15.00

Сборник статей, перевод с английского.

Николай Новиков. Эрнст Неизвестный: искусство и реальность. Книга богато иллюстрирована. 135 стр., цена -- 10.00

Петр Кушников. Военный дневник 1917 года. Малотиражное издание. 95 стр., цена -- 10.00. На обложке -- портрет автора.

Уникальный исторический документ, содержащий дневниковые записи русского физика, в то время молодого русского офицера, описывающего развал русской армии, непосредственно перед и сразу после октябрьского переворота.

Николай Евреинов. История телесных наказаний в России. 234 стр., цена -- 15.00

Бертран Рассел. История западной философии. Малотиражное издание, 855 стр., цена -- 30.00

Фридрих Ницше. Так говорил Заратустра. 292 стр., цена -- 15.00 (выходит в декабре)

Георгий Федотов. Россия и свобода. 271 стр., цена -- 15.00

Сборник содержит статьи известного русского философа: Трагедия интеллигенции, Сталинокрратия, Письма о русской культуре, Загадки России, Народ и власть, Россия и свобода, Судьба империй, Запад и СССР, Рождение свободы.

Серан Киркегор. Наслаждение и долг. Репринт, 420 стр., цена -- 15.00

Иегошуа Яхот. Подавление философии в СССР (20-30 годы). Цена -- 15.00

Коран. Репринт с советского издания 1963 г. Перевод *Крачковского*. Карманный формат, 490 стр., цена -- 20.00

О. Иоанн Мейендорф. Православие в современном мире. 230 стр., цена -- 12.00

З. Авалов. Присоединение Грузии к России. Репринт, 320 стр., цена -- 15.00

Петр Гарви. Профессиональные союзы в России после революции. 155 стр., цена -- 7.00

Николай Валентинов. Встречи с Лениным. Карманный формат, 356 стр., цена -- 12.00

С H A L I D Z E P U B L I C A T I O N S

Никита Хрущев. Воспоминания. Карманный формат, 303 стр., цена — 12.00

Никита Хрущев. Воспоминания, книга вторая. Карманный формат, 288 стр., цена — 12,00

Владимир Буковский. Письма русского путешественника. Цена -- 12.00

Вторая книга известного русского правозащитника и публициста. Автор увлекательно и талантливо излагает свои впечатления о Западе.

Отвественность поколения. 143 стр., цена — 8.00

Татьяна Литвинова, Виктор Некрасов, Мстислав Ростропович, Владимир Максимов, Эрнст Неизвестный, Татьяна Ходорович, Наум Коржавин, Вероника Туркина, Людмила Алексеева, Леонид Тарасюк, Александр Есенин-Вольпин обсуждают личный опыт того, как они пришли к осознанию своей ответственности за судьбу своей страны. Составитель В. Чалидзе.

Валерий Чалидзе. Победитель коммунизма. (Мысли о Сталине, социализме и России). 96 стр., цена — 7.00

В этой книге, вызвавшей много споров, автор утверждает, что Сталин полностью победил коммунизм в России и построил империю, не являющуюся ни социалистической, ни коммунистической.

Лев Конелев. На крутых поворотах короткой дороги. Повесть. Цена -- 7.00 (выходит в декабре)

Раиса Орлова. Последний год жизни Герцена. Цена -- 6.00 (выходит в декабре)

Ирина Кичанова-Лифшиц. Прости меня за то, что я живу. Цена -- 10.00 (выходит в декабре)

Книга содержит воспоминания о встречах с М. Зощенко, Ю.Олешей, Вл. Лебедевым, С. Маршаком и другими. И. Лифшиц была замужем за Вл. Лебедевым и В. Лифшицом. В книге приведены неопубликованные ранее письма известных деятелей и большое количество фотографий.

Юз Алешковский. Синенький скромный платочек. Скорбная повесть. Цена -- 7.00 (выходит в декабре)

Евгений Гнедин. Выход из лабиринта. 120 стр., цена -- 8.00 (выходит в декабре)

Автор — один из близких сотрудников советского министра Максима Литвинова в конце 30-х годов. Репрессирован в 1939 г. и освобожден после смерти Сталина. Книга является второй частью мемуаров. Первая часть издана Фондом им. Герцена.

А. Зимин. Социализм и неосталинизм. 214 стр., цена — 9.00

Проблемы Восточной Европы. Ежеквартальный журнал под редакцией *Франтишека и Ларисы Силницких.* В каждом выпуске около 200 стр., цена выпуска — 9.00

CHALIDZE PUBLICATIONS

Валерий Чалидзе. Иностранец в Советском Союзе, юридическая памятка. Карманный формат, цена — 6.00

Законодательство о религии в СССР, цена — 9.00

Пакты о правах человека, карманный формат, цена — 5.00

Цыганско-русский словарь. Репринт, малотиражное издание. 191 стр., цена — 25.00

КНИГИ ДРУГИХ ИЗДАТЕЛЬСТВ

Лев Троцкий. Моя жизнь. 668 стр., цена — 20.00

Лев Троцкий. История русской революции. 1407 стр., цена — 30.00

Владимир Буковский. И возвращается ветер... 384 стр., цена — 12.00

Андрей Сахаров. О стране и мире. 183 стр., цена — 10.00

Андрей Сахаров. Тревога и надежда. 198 стр., цена — 8.00

Лидия Чуковская. Открытое слово. 111 стр., цена — 5.00

Анатолий Марченко. От Тарусы до Чуны. 122 стр., цена — 5.00

Михаил Лунин. Сочинения. 175 стр., цена — 10.00

Валерий Чалидзе. Уголовная Россия. 395 стр., цена — 12.00

Бендикт Лившиц. Полутораглазый стрелец. 204 стр., цена — 8.00

Александр Некрич. Наказанные народы. 170 стр., цена — 7.00

Мария Иоффе. Одна ночь. 130 стр., цена — 7.00



CHALIDZE PUBLICATIONS

505 Eighth Avenue,
New York, N.Y. 10018

Добавьте 50 с. за доставку каждой книги

**ЗАКАЗЫ ТОЛЬКО ПО ПОЧТЕ
ОПЛАТА ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ**

